

Алексей Варламов

МАРИЯ И ВЕРА

рассказы
о церкви



ПРАВОСЛАВНАЯ
СЕРИЯ

Алексей Николаевич Варламов
Мария и Вера (сборник)
Серия «Религия. Рассказы о поиске Бога»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6981737
Алексей Варламов. Мария и Вера: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-70570-2

Аннотация

В чем чудо веры? Как воплощается Иисус Христос в каждом из нас? Новая книга известного писателя Алексея Варламова не дает прямых ответов. Варламов пишет об обыкновенных людях, которых мы встречаем каждый день, и вместе с тем судьба каждого такого человека уникальна, как и его вера в Бога.

Глазами автора мы видим Таинство Причастия и чувствуем силу православной молитвы. Эта книга – не религиозная агитка, не скучная опись церковного быта и обрядов, но живое, искреннее повествование, способное расшевелить душу даже заядлого атеиста.

Содержание

Таинство	4
Из жизни Николая Петровича	8
Случай на узловой станции	11
Покров	15
Паломники	20
Кальвария	27
Ангел	32
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Алексей Варламов

Мария и Вера

Таинство

«Боже мой, сколько народу», – подумал священник, выходя вслед за дьяконом, несущим причастную чашу из алтаря, и оглядывая скопление людских голов. Половина стояла, разинув рты, другие кланялись, крестились на открывшиеся Царские Врата, и во всем храме висел, подрагивая, легкий гул, неприятно напоминавший ожидание театрального спектакля.

– Со стра-хом Бо-ожи-им и ве-ерою присту-уупи-те! – прогудел дьякон, передавая священнику потир, и народ мигом умолк, точно действие началось. Запел неправдоподобно, концертно громко хор, и, когда пение окончилось, священник начал монотонно произносить:

– Верую, Господи, и исповедаю, яко Ты еси...

За несколько лет службы в храме у него выработалась привычка: произнося молитву, он отключался, думал о своем и говорил нужные слова почти машинально.

– ...яко сие есть пречистое тело Твое и сия есть самая честная кровь Твоя...

Он чувствовал себя очень усталым: позади был Великий пост, Страстная седмица с ее долгими службами, утомительным чтением покаянных канонов и Ветхого Завета, коленопреклоненными молитвами, и теперь, в Великую субботу, накануне Пасхи, к этой усталости примешивалось другое ощущение, что пост в который раз прошел для него зря и к празднику он внутренне не готов.

– ...и сподоби мя неосужденно причаститься пречистых Твоих таинств...

Он кончил наконец читать молитву, и его рассеянный взгляд сосредоточился на лицах.

– Сейчас вы будете причащаться, – сказал священник негромко, но отчетливо. – К чаше подходят только те, кто исповедался, утром ничего не ел, не пил и не курил. Подходя к причастию, не толкайтесь, называйте громко свои имена, креститься не надо – вы можете случайно задеть чашу.

Первое время ему было очень неловко говорить изо дня в день эти очевидные вещи, но очень скоро он убедился, что многие из прихожан, если только можно было назвать прихожанами этих людей, были настолько необразованны, что не знали самого простого, не понимали, зачем они причащаются и что это означает, и к причастию шли лишь оттого, что так было принято. В глубине души он немного презирал этих суетливых, подбострастных женщин, непомерно толстых, самоуверенных, похожих на рыночных торговек, которые выстроились к нему в бесформенную очередь, подталкивали друг друга, опасаясь, что им не хватит. Священник глядел на них с амвона и с тоской думал о том, что хорошо бы ему было служить не в этой церкви в неуютном новом микрорайоне, а в приличном месте – на Ордынке, в Обыденской или на Неждановой, где собирается интеллигенция и куда он сам бегал, будучи студентом.

– Причащается раба Божия... Имя?

– Анна, – торопливо сказала старуха в белом платке, из тех, что всегда норовят успеть первыми и всех задерживают.

«Как же они бестолковы!»

– Раба Божия Анна во исцеление души и тела. Причащается раба Божия Ольга, раба Божия Наталья...

Они подходили к чаше одна за другой, сложив крестообразно руки на груди, открывали рты, и священник опускал ложечку со Святыми Дарами, но мысленно был по-прежнему далеко.

Священником он стал случайно. Из любопытства или же из стремления утвердиться, казаться самому себе интересным и быть непохожим на других; еще учась в университете, начал ходить в храм, увлекся религиозными философами, но менее всего думал, что он, выросший в благополучной интеллигентной семье, не атеистической и не религиозной, станет попом. По окончании университета попал в редакцию, но там было тоскливо, он чувствовал, что способен на большее, чем проверять цитаты к чужим статьям и составлять никому не нужные аннотации. Самостоятельной же работы не было и не предвиделось, и самым близким друзьям он стал толковать о нише, укромном месте, куда можно забиться и заниматься своими делами, читать хорошие книги, пописывать что-нибудь самому и не видеть всей этой мерзости – собраний, субботников, профсоюзов, общественной работы. Но дальше разговоров не шло и никогда бы не пошло, если бы случайно он не познакомился с человеком, работавшим в издательском отделе патриархии, который и предложил ему перейти к ним.

Он долго колебался, понимая, что согласиться – значит сжечь все мосты и лишиться всякой надежды на обыкновенную карьеру, но в конце концов убедил себя, что иначе задохнется, так больше жить нельзя, и ушел в издательский отдел. А там его ждала другая карьера: закончил экстерном семинарию и через некоторое время был рукоположен в сан.

Поначалу этот крутой жизненный перелом возвысил его в собственных глазах и в глазах его друзей, но скоро новое поприще его разочаровало. Здесь совсем не то, о чем он мечтал, – а мечтал он о благолепии, покое, святости. Здесь плелись те же, но еще более тонкие интриги, еще больше требовалось умение ладить с начальством, и он чувствовал себя гораздо менее защищенным, чем прежде, потому что, смешно сказать, но здесь не было обрыдших, но, оказывается, нужных месткомов, дававших мало-мальскую уверенность, что завтра тебя не переведут в другое место. С людьми в этом мире поступали безжалостно и круто, хорошо зная, что уходить отсюда некуда и все они тут заложники. Так во всяком случае виделось это ему, и, мечтавший освободиться от условностей и чинопочитания, почувствовать себя вольным человеком, он оказался еще более повязанным, чем прежде. И ему только и оставалось почитать мстительно графа Толстого и лесковские «Мелочи архиерейской жизни» и подумывать о том, что он тоже когда-нибудь соберется и опишет их нравы.

Рядом с ним стоял дьякон – невысокого роста плотный мужчина с надменным лицом и гладко зачесанными, блестящими от масла волосами. Дьякона священник звал про себя солдафоном за властный и грубый характер. При дряхлом отце настоятеле, проводившем большую часть времени в болезнях, дьякон ощущал себя в храме хозяином, он прекрасно ладил с церковным старостой, все перед ним заискивали, и священнику постоянно казалось, что дьякон, сговорившись с двадцаткой, замышляет недоброе. Если бы не этот страх, священник, может быть, и попытался бы как-нибудь себя проявить, читал бы проповеди, и на эти проповеди собирались бы приличные люди – все ж он был умным человеком и имел должное образование, но постоянно ловил на себе презрительный взгляд дьячка – взгляд люмпена на интеллигента: выскочить хочешь? – и тушевался. Чего стоило тому же дьякону подговорить двадцатку написать жалобу, и никто бы разбираться не стал, его мигом бы перевели, ни о чем не спрашивая, куда-нибудь в Коломну.

Очередь к чаше не убывала, люди все шли и шли, торопясь причаститься перед Пасхой.

– Причащается раба Божия Ксения, причащается раба Божия Людмила. Раба Божия Ирина, Любовь, Михаил, Софья, Анна, Андрей, Катерина.

Некоторых он знал в лицо, иных видел впервые, но ему казалось, что все эти Анны, Любви, Надежды разевают рты с таким видом, будто здесь совершается не величайшее таинство православной веры, а им просто кладут в рот лекарство. Причастившись же, они отходили к своим кошелкам с куличами и крашеными яйцами и ждали одного: скорей бы служба закончилась, он побрызгал бы на их кулинарию святой водичкой, и они тогда пой-

дут по домам, упиваясь собственной святостью и высокомерно глядя на окружающий мир, погрязший в грехах.

«Несчастливая страна, даже здесь ничего не осталось, верно, сам Господь тебя покинул, и, значит, действительно никакого таинства нет, все мертво – наша вера, наша жизнь, наши души, а хлеб в чаше так и остается хлебом, а вино – вином. Мы просто соблюдаем никому не нужные приличия...» И даже у него самого нет свободы, иначе, видит Бог, он бы давно перестал играть в эти игры и уехал бы на Алтай, где чисто, зелено и никто тебя не трогает.

– Раба Божия Антонина во исцеление души и тела, раба Божия Таисия, раба Божия...

В этот момент случилась небольшая заминка. К чаше подходила женщина лет шестидесяти, которую священник видел впервые. Она смотрела на чашу расширенными глазами, ее губы что-то шептали, а в руках у нее была сумка, и тут дьякон, любивший во всем порядок, прогремел ей прямо в ухо:

– Руки, руки где у тебя?

Она вздрогнула, точно ее ударили, хлебнула ртом воздух и стала беспомощно взмахивать руками.

– Да не так, – сказал дьякон с досадой, – левую сначала, а потом правую. Что ж ты, мать, дожила до седины, а как к чаше подойти, не знаешь?

Женщина попыталась сложить руки, как он сказал, но мешала сумка.

– Куда с кошелкой-то приперлась? Оставить, что ль, нельзя было? Боишься украдут?

«А могли бы и украсть, – равнодушно подумал священник, глядя, как дьякон воюет с женщиной, – случай такой уже был. Милиция приходила. Тут все может быть».

– Да поставь ты ее. Так. Одну руку сюда, другую сюда. Ну? Имя?

– А? А? – бессмысленно разевая рот, произносила женщина, ее всю трясло.

– Зовут тебя как?

– Нн... нн...

– Наталья?

– Нн... – замотала она головой.

– Тьфу ты, – едва не чертыхнулся дьякон, – надо ж, имя свое забыла. Тетка, ты хоть где находишься, помнишь? Ну давай, давай, бери свою кошелку и ступай. В другой раз придешь. Следующая.

– Анастасия.

– Причащается раба Божия Анастасия, – автоматически сказал священник, но глаза его следили за незадачливой женщиной, пробиравшейся к выходу. Ее толкали люди, а она совсем потерялась и пошла не в тот узкий проход, по которому шли причастники, а вломилась в самую толпу, и до священника долетало:

– Боженька, Боженька, что делать-то? Грех-то какой, Боженька.

– Да куда ж ты прешь, а?

– Боженька, как же я теперь буду?

– Ступайте, женщина, ступайте.

Она дошла наконец до выхода и исчезла за дверью, и тут священника точно что-то толкнуло, в мгновение все открылось ему, полоснуло по глазам резким светом. Он снова увидел перед собой эту женщину, ее бескровное лицо, молящие глаза, крупные натруженные руки, сжимающие сумку, и с этим всю ее жизнь – непосильную, замордованную, в которой не было времени, чтобы остановиться и себя вспомнить – голод, нужда, война, снова голод, и так изо дня в день, только одно воспоминание, как в детстве мать перед Пасхой к причастию водила, как яйца красила, как кулич пекла, как боязно было, когда батюшка на исповеди широким черным рукавом всю голову накрывал, и как теперь, мужа схоронив, вспомнила она и пошла в храм, как страшно было после стольких-то лет, но слышала она в себе робкий

нежный зов: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные», и пришла к таинству, к Телу и Крови Христовой, только вот как руки правильно сложить, позабыла...

«Господи, что же я наделал-то?» – мелькнуло в голове.

Он замер, замерла его рука, в которой была чаша, и другая, с ложечкой, тоже замерла, на него удивленно посмотрел дьякон, блестя масляными волосами, а священник уже тронулся с места и вломился в толпу людей, через которую только что пробиралась женщина. Народ тотчас же расступился, пропуская его. Он шел среди притихших людей, очень высокий в фелони, ему кланялись, прикладывались к руке, и ему казалось, что он идет очень долго, но вот наконец он вышел и оказался с чашей в руках на улице.

Сразу же за церковной оградой начинался бульвар и с ним другой мир. Был хороший апрельский день, мужчины и женщины в ярких куртках сгребали и жгли прошлогодние листья, выгуливали малышей мамы, из магазина люди несли сетки с мятой картошкой и ранним дорогим перцем, играла по случаю субботника веселая музыка, через голые деревья и ограду храма летела весенняя пыль, и священник не сразу разглядел женщину в толпе.

Он пошел за нею и хотел было окликнуть, но не знал, как позвать, и тогда просто обогнал ее.

– А, батюшка, – заплакала она, увидев его перед собою, – простите, батюшка.

Вокруг собрались праздные прохожие, мальчишки на велосипедах, какие-то молодые люди в спортивных костюмах, и все смотрели с недоумением на высокого молодого попа и полную женщину с сумкой в руках. Тогда священник, судорожно сглотнув, глядя прямо в глаза женщине, стал говорить:

– Причащается раба Божия...

– Мария, – еле слышно вымолвила та, и на глазах у нее снова появились слезы.

– Мария, – как эхо отозвался священник. – Честного и Святого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов своих и в жизнь вечную.

Она поцеловала край чаши, и когда подняла голову, то священник вздрогнул, увидев это преобразившееся счастливое лицо, и неожиданно для самого себя тихо сказал:

– Молись за меня грешного, Мария.

И на мгновение все поплыло у него перед глазами, странным и нереальным показался этот мир, столпившиеся вокруг него люди с граблями и лопатами, и он молчал, и они тоже молча глядели на него, точно чего-то ожидая, но священник повернулся и пошел обратно. Он чувствовал в душе необычайное волнение и, может быть, поэтому совсем не замечал тех взглядов, которые искоса бросали на него дьякон и церковный староста – представительный мужчина в черном костюме и галстуке.

Из жизни Николая Петровича

Николай Петрович крестился в храме Ильи Обыденного в середине лета. Был поздний вечер, и кроме него и пожилого священника в крещальне никого не было. Николай Петрович сам наносил воды в купель, после чего разделся по пояс и стоял босиком в закатанных до колен брюках, ожидая, когда батюшка приступит к таинству. Из раскрытого окна доносились отдаленные звуки города, гул троллейбусов, звонки велосипедов и детские крики, в душной, нагретой за день комнате жужжали комары – все было обыденно и просто, и эта обыденность как-то странно поражала его воображение.

Николай Петрович бывал в этом храме довольно часто. Он стоял обычно в стороне от молящихся, прислонившись к свечному ящику, и наблюдал за огоньками свечей перед образами, изредка поднимая голову и разглядывая грубоватую роспись на потолке, прислушиваясь к пению хора и забывался в своих мыслях и воспоминаниях, дожидаясь каждый раз, когда служба кончится и люди, смешавшись, подойдут испросить благословение у священника, переодевавшегося в простую рясу. Он любил все это, но никогда не мог представить, что сам окажется среди этих людей, будет так же кланяться, креститься, прикладываться к иконам и опускаться на колени. Ему казалось, что, начини он так делать, в его действиях непременно проскользнет фальшь, потому что он не верит так, как они. Он словно глядел на все со стороны, хотя в иные минуты испытывал невыразимое чувство, что-то почти младенческое в своей нежности и любви к неведомой силе, собиравшей их всех здесь.

Так он жил, имея веру в душе и полагая, что с него и этого будет довольно, но с годами им стала овладевать тревога. Его все чаще тянуло в храм, он стал понемногу разбираться, о чем поет хор и возглашает причт, какая молитва за какой последует и чем отличается одно богослужение от другого. Это нисколько не приблизило его к тому, что происходило в храме, и не дало душе успокоения. Напротив, именно здесь он острее, чем где бы то ни было, чувствовал одиночество и неполноту собственной жизни. Душа его томилась, и в конце концов, так и не преодолев ему самому непонятный страх и не уверенный, что поступает правильно, он подошел к священнику, который ему нравился больше других, и попросил, чтобы тот его окрестил.

Священник задал ему несколько вопросов, спросив среди прочего, серьезно ли желание его стать христианином и насколько он осознает всю важность этого шага. И Николай Петрович, избегая посвящать этого человека во все сомнения своей мятущейся души, коротко ответил «да», пожелав лишь, чтобы крещение было совершено тайно, без занесения его имени в церковную книгу. Привыкший к такого рода просьбам, батюшка немного помедлил и кивнул.

Так же медленно и обстоятельно он сделал все, что полагалось по чину, велел Николаю Петровичу самому прочесть трудный текст Символа веры, подсказывая в непонятных местах, и после того как все было кончено, поздравил его и произнес небольшую проповедь. Он говорил очень доходчиво и тепло, и его простые, ясные слова до такой степени растрогали Николая Петровича, что прежние опасения забылись, и ему стало легче, точно и в самом деле с этой минуты невидимый ангел взял его под свою защиту.

Было уже совсем темно, когда, попрощавшись со священником и неловко наклонив голову под его благословенной рукой, Николай Петрович вышел на улицу. Город опустел, разогревшийся за день асфальт отдавал жар, было тихо, и лишь кое-где в вышине изредка пролетал ветер, касаясь верхушек деревьев. Николай Петрович в чистой белой рубашке ощутил легонькую цепочку с крестиком, шел по глухим закоулкам и дворам и вдруг поймал себя на нелепом и смешном воспоминании, что, пожалуй, такое же пронзительное, счастливое

чувство он испытал лишь однажды в жизни – в детстве, когда его приняли в пионеры и он шел среди других детей, распахнув куртку, с ярко-красным галстуком.

Теперь он был переполнен детской благодарностью к Богу за то, что наконец все исполнилось и после стольких тягостных и бессмысленных лет и его жизнь обретает цельность, он станет ходить в храм и ощущать себя не сторонним наблюдателем, а истинным христианином.

Назавтра он пошел на службу. Был канун большого праздника, и народа в этот раз собралось много. Николай Петрович прошел вперед и встал возле клироса. Ему почудилось, что все его узнают и смотрят как-то особенно, точно радуясь тому, что Господь сподобил его перешагнуть отделявшую прежде от них черту. Началась всенощная, и он стал вместе со всеми креститься и кланяться после каждого прошения ектиньи, с умилением прислушиваясь к собственной душе и ища в ней отголоски новых ощущений. Однако не прошло и получаса, как с ним произошла странная вещь.

Неожиданно Николая Петровича потянуло выйти на улицу. Это было какое-то очень мучительное, сильное чувство, какого он прежде никогда не испытывал, но храм, пение, запах ладана, свечи – все это вдруг действовало на него угнетающе. Его взгляд против воли стал пробегать по сторонам, мысли и чувства рассеялись, и само пребывание здесь показалось бессмысленным и совершенно ненужным. Он почувствовал себя еще более чуждым всем, чем прежде, словно его заперли и насильно удерживают. Несколько священников вышли на середину для совершения литии – народ расступился, давая им место, и стало еще теснее. Из распахнутых окон несло зноем, и зноем несло от множества свечей, и Николай Петрович, не в силах более совладать с собою, чувствуя, что, если он сейчас не выйдет, с ним произойдет что-то ужасное, стал проталкиваться к выходу.

На улице ему сделалось легче. Был обычный вечер, Николай Петрович присел на лавочку в соседнем дворе и, глядя на купол колокольни в лесах, задумался. Что-то непонятное случилось с ним, он вдруг ощутил почти физическую тяжесть при мысли, что сейчас войдет в это душное и тесное помещение и будет стоять еще долгих два с половиной часа. Ему захотелось пойти домой, включить телевизор и смотреть какой-нибудь бессмысленный фильм, перемежая его чтением не менее бессмысленной газеты. Однако, бросив недокуренную сигарету, он вошел в храм, решив во что бы то ни стало преодолеть эту слабость и дотянуть до конца. И тут с ним произошла чудовищная вещь. Только он начал повторять вслед за священником молитву, как в мозгу у него возникло скверное слово и он несколько раз мысленно его произнес. Он попытался стряхнуть его, как стряхивают с ботинка грязь, но ничего у него не получилось, и когда он опять обратился к Господу и Богородице, в голове возникла жуткая похабщина. От ужаса и внутреннего отчаяния, не понимая, что с ним происходит и как это происходит, Николай Петрович покачнувшись, пытаясь побороть этот ужасный голос, стиснул зубы, но тот настойчиво пробивался, привязавшись, как назойливый мотив. Это было настолько омерзительно, что, не в силах более терпеть, Николай Петрович, не оборачиваясь, вышел из храма и бессильно опустился на ту же самую лавочку, где только что курил.

Он был раздавлен и уничтожен всем происшедшим. Почему, как получилось, что именно теперь, когда он крестился и приблизился к Богу, когда очистился от прежних грехов и началась его новая жизнь – почему случился весь этот кошмар, он не знал и никак не мог себе объяснить. Но вдруг как холодная и трезвая догадка пришла к нему мысль, что в тот самый момент, когда он крестился и отрекся от сатаны, то получил не только ангела-хранителя, но и приступившего к нему злобного беса, и по неведомой причине этот бес оказался сильнее.

Что теперь делать и как жить дальше, Николай Петрович не знал. Еще несколько раз он приходил в храм, молился, но всякий раз злобная сила, подстерегая его, заставляла про-

износить богохульства, и он с трудом удерживался от того, чтобы они не вырвались наружу. О том, чтобы пойти к священнику и все ему рассказать, Николай Петрович и думать не смел. Он стыдился случившегося, как позорной болезни, и жизнь его превратилась в адскую муку. Он уже не мечтал о том, чтобы вернуться в храм, – он хотел лишь одного, чтобы бес оставил его, хотел жить как тысячи людей вокруг, ни разу в жизни не задумывавшихся ни о Боге, ни о дьяволе, но пути назад не было. Одиночество его сделалось невыносимым, он не знал, что делать с собою, куда деться, как прожить это жуткое время и сколько оно еще продлится. А город по-прежнему изнывал от небывалой жары – солнце садилось в душное чистое небо, и ночь не приносила прохлады.

Тогда отчаявшись, загнанный в угол, Николай Петрович в минуту просветления рассудка вдруг вспомнил, что священник говорил о том, что ему будет необходимо, особенно в первое время, часто причащаться, и скорее от безвыходности он решил это сделать. Несколько дней постился и читал молитвы, с удивлением и тайной радостью замечая, что ужасные слова и образы не мучают воспаленную душу.

Николай Петрович воспрял духом, казалось, кошмар забылся, и после стольких мук он обретет долгожданный покой. Но когда на литургии после общей исповеди он стал подходить к чаше, рассудок его внезапно помутился, и его стала бить судорога. Испытывая невероятное омерзение к собственному телу, он словно извне увидел, как затряслись его голова и руки, и чем ближе была чаша, тем сильнее он бился и хрипел.

Стоявший возле священника молодой дьякон крепко, привычным движением схватил его за плечи и стал подводить к причастию, добродушный батюшка, изменившись в лице, что-то строго крикнул, и Николай Петрович как будто успокоился, но в последний момент, увернувшись от ложечки со Святыми Дарами, оттолкнул дьякона и бросился вон из храма.

От этого потрясения несчастный оправился не скоро. Еще долго его воображение преследовала жуткая картина, и он не мог позабыть, как тряслось ставшее будто чужим тело. По счастью жара, больше трех недель испепелявшая город, спала, задул северный ветер, и Николаю Петровичу стало легче. Постепенно он успокоился, и с течением времени, когда силы его восстанавливались, рассудил, что происшедшее с ним было не что иное, как нервный срыв, помноженный на невыносимую жару. Они-то и сыграли с ним злую шутку, и нет никакой необходимости искать иные объяснения. Но в церковь он с тех пор не заходил ни разу.

Лишь много лет спустя, когда эта история позабылась и он вспоминал ее скорее как курьез, однажды, бродя по Остожью, Николай Петрович решил зайти в знакомый храм.

Несколько минут он стоял и глядел на знакомую роспись и иконы. Слушал, как поют певчие, но никаких прежних чувств, ни светлых, ни темных, в душе у него не было. Он собрался было выходить, как вдруг ему почудилось, что кто-то на него смотрит. Николай Петрович обернулся, но придел был пуст – только несколько свечей догорали перед иконой Спасителя.

Он пристально поглядел на икону, побледнел, а потом сделал несколько шагов, неловко упал на колени и словно со стороны услышал свой собственный голос:

– Боже, милостив буди мне грешному.

Случай на узловой станции

Инженера-путейца Георгия Анемподистовича Посельского сослали в Варавинск в конце двадцатых годов. Жена с ним сразу же развелась, и это было для Посельского таким ударом, что все последующие тяготы судьбы он переносил равнодушно и отстраненно. Ему было в ту пору чуть больше сорока, но оттого, что мужчины в их роду всегда седили рано, он выглядел старше своих лет. Однако ни одиночество, ни время не вытравили примет дворянского происхождения, сквозившего и в его речи, и в манере держать себя с другими людьми. Надзиравшее за инженером начальство было им вполне довольным. Посельский не вел никакой переписки, не имел в городе знакомых, никуда из Варавинска не выезжал и жил довольно бедно, подрабатывая мелким кустарным промыслом и давая уроки. Когда же срок его ссылки закончился, он остался в Варавинске и устроился работать по специальности.

Варавинск был в ту пору крупным железнодорожным узлом на Транссибе. За сутки по станции проходило огромное число пассажирских и грузовых поездов, часто случались аварии, и к Посельскому отнеслись настороженно. За ним следили, не подсыпал ли он в бокс песка, перепроверяли то, что он делал, стремясь уличить в злом умысле, и Георгий Анемподистович решил даже вернуться к починке керосинок и урокам, однако тут вышло постановление, запрещающее работникам увольняться по своему желанию. Ему пришлось остаться, и постепенно он разлюбил свою работу, по которой так тосковал все эти годы, и ни вид паровозов, ни их долгие гудки, ни запахи не волновали его как прежде. Он отработывал положенное и заботился лишь о том, чтобы никто не обвинил его во вредительстве.

С началом войны жизнь его почти не изменилась. Он получил бронь, продуктов на одного ему вполне хватало, прибавилось, правда, работы, и ему даже казалось, что все давно забыли, что он бывший дворянин и бывший ссыльный, потому как война всех объединила и уравнила. Но однажды летом сорок второго года, когда приходили особенно дурные вести с фронта, к Посельскому подошел сильно выпивший начальник станции, взял за грудки, угрожающе тряхнул и, ни слова не говоря, пошел прочь. Инженер знал, что этому незлому, но очень недалекому человеку пришла похоронка на сына, и его можно было понять, но именно в этот момент Посельский особенно остро почувствовал, что навсегда останется для этих людей и в этой стране чужим, таким же чужим, как немцы, которых вывозили сюда из Поволжья, и все равно рано или поздно этот или другой начальник отправит его в расход.

Вышло же, однако, иначе. Неделию спустя после этого случая на станции произошла авария, сорвался и ушел под откос товарный поезд. Прибыла специальная комиссия из Новосибирска, установила причины аварии, в результате был расстрелян начальник станции, а его место было велено занять Посельскому, единственному, чьи знания удовлетворили комиссию, не ставшую ввиду военного времени входить в подробности его биографии.

Посельский отнесся к этой перемене в своей судьбе с тем же стоицизмом, с каким относился ко всем прежним переменам, однако убежденность в том, что его используют лишь потому, что он сведущ, и едва кончится война, как ему тотчас же подыщут замену, не оставляла его. Он не боялся смерти, но тягостное ее ожидание сделало его ко всему безразличным. Окаменели чувства, и он постепенно заметил, что ничего прежнего в его душе не осталось. Ушли куда-то столь дорогие и важные для него мысли о необходимости разделить участь своего народа и жить собственным трудом, то, из-за чего он остался в свое время в России, пошел служить новой власти и с чем ехал в ссылку, убежденный, что происшедшее с ним есть лишь некоторая трагическая закономерность, справедливое возмездие его классу за многовековое рабство.

Теперь же ничто не волновало и не влекло его, лишь иногда на инженера нападала хандра, и он вспоминал далекую, точно не с ним бывшую жизнь, гимназию, балы, засне-

женную Москву, а наяву видел перед собой составы с оружием, танками, скотом и людьми. Казалось, вся страна пришла в какое-то апокалипсическое движение, и, глядя на муки людей, ехавших много недель в грязных переполненных вагонах, на свой Варавинск, где умирали с голоду дети и жирели спекулянты и рвачи, он ловил себя на мысли, что, может быть, и к лучшему то, что нет у него семьи и не надо постоянно думать, как уберечь ее от голода и стужи. А если опять случится какая-нибудь авария и на сей раз расстреляют его, то никого это не коснется.

Он видел много горя, каждый день его осаждали люди, которым надо было куда-то ехать, везти свой груз, семью, люди, у которых не было билетов, денег, которых обкрадывали или, наоборот, подкидывали детей. Его пытались подкупить, ему угрожали, умоляли, плакали, и Посельский взял себе за правило никогда и никому не помогать, потому что помочь всем он был не в состоянии физически, а сделать для кого-то исключение значило бы неминуемо обернуть это против самого себя.

Так он прожил эти военные годы, превратившись в какой-то сложный и полезный механизм и даже находя в этой работе известное удовлетворение, но в тот день, когда объявили победу, Георгий Анемподистович почувствовал тоску.

С утра шел дождь, и он тупо глядел за окно, где играла гармошка и танцевали бабы, а среди них единственный мужичок привалился к скамье и рыгал. Инженер думал о том, что теперь начнется другая жизнь, непредсказуемая и неизвестная, и ему не будет в ней места. Погруженный в эти мысли, он не сразу заметил вошедшую в кабинет дурно одетую женщину с изможденным лицом и спекшимися губами. Она остановилась в дверях, но потом, поколебавшись, подошла прямо к его столу.

Из ее сбивчивых слов Посельский понял, что она эвакуированная, едет с детьми в Москву и ее сына схватили полчаса назад двое машинистов, когда тот попытался взять масла из букусы, чтобы развести костер.

– Из-за вашего сына могли погибнуть люди, – сказал он, резко повернувшись к женщине, но почувствовал, что говорит не то и глупо читать ей теперь нравоучения, а надо сделать поскорее так, чтобы она ушла и кончился рабочий день. Он пришел бы домой, где его будет ждать сегодня молочница – сорокалетняя печальная вдовушка, и они вместе выпьют водки и утешат друг друга любовью, забыв о том, что совсем чужие люди.

– Никто не имеет права приближаться к буксе. С вашим сыном теперь будут разбираться в НКВД.

Она охнула, побелела, видимо, до той минуты еще не представляя, насколько серьезно было все, что произошло, и, вцепившись руками в стол, так что, казалось, никакая сила не оторвала бы ее от этого стола, произнесла:

– Отпустите его.

– Да что вы в самом деле? – обозлился, и не столько на нее, сколько на самого себя, Посельский. – Я-то как могу его отпустить? Идите вон сами и там просите.

Она сидела и никуда не уходила, и он подумал, что сейчас придется кричать, выталкивать ее силой, может быть, звать милицию, и в его кабинет прибегут какие-то люди. Если бы не эта тоска, томившая его с утра, он бы, наверное, так и сделал, но теперь что-то останавливало инженера.

– Вот что, – сказал Посельский, – возьми листок бумаги и напиши, как все произошло. Только живо. А потом штраф заплатишь, и дело с концом.

Она схватила у него листок, заозиралась, ища ручку, и презрительный вопрос «Ты хоть писать умеешь?» застрял у инженера на языке. Что-то необычное, новое или же, напротив, прочно забытое почудилось ему в этой женщине. Она писала, немного наклонив голову и отбрасывая прядь волос, очень быстро и легко, как будто это и было всю жизнь занятием ее огрубевших, но все еще тонких пальцев. Наконец, исписав листок с обеих сторон стреми-

тельным убористым почерком, она протянула его начальнику станции с таким видом, точно написанное ею могло действительно что-то значить и не будет выброшено в корзину.

И опять что-то удержало его, и вместо того чтобы спокойно отправить ее, пообещав, что с ее сыном лучшим образом разберутся, он принялся читать и с самых первых строк отчетливо представил себе, как все это произошло. Дождь, ветер, они едут больше недели не в вагоне, не в теплушке даже, а на открытой платформе, женщина и трое ее детей. Готовят, когда поезд останавливается, и надо успеть развести костер, сварить похлебку, всех накормить и снова ехать, прячась за трактором от пронзительного ветра.

Посельский поднял на нее глаза: на вид ей было лет сорок пять, но лицо ее хранило какие-то особые черты, так резко напомнившие ему молодость, Москву, и он вдруг понял, почему так мучительно притягивает его это лицо.

– Вы дворянка? – спросил он по-французски.

Какое-то странное выражение промелькнуло в ее глазах, сперва удивление, потом недоверчивость, страх, мольба, и, верно, поняв, что терять ей уже нечего, она молча кивнула, и Георгию Анемподистовичу стало немного не по себе, когда он представил, что в этот день на забытой Богом станции встретились двое бывших – инженер-путеец, живущий под постоянным страхом расстрела, и эта женщина, привыкшая ездить лишь первым классом и вряд ли предполагавшая, что когда-нибудь ей придется везти своих детей хуже, чем везли скотину.

– Идите к своему поезду, – сказал Посельский, – и ждите меня там.

Она заколебалась, не будучи уверенной, что этот странный человек ее не обманет, но потом вышла все же на улицу, где еще пьянее, отчаяннее и надрывнее играла гармонь и уж совсем разошлись женщины, и те, к кому должны были вернуться мужья и сыновья, и те, кому предстояло до скончания века вдовствовать.

Мальчишка был, по счастью, не в изоляторе НКВД, а в каком-то чулане, куда его заперли машинисты, ушедшие праздновать победу. Он лежал на полу, свернувшись калачиком, и спал, сжимая изо всех сил тряпку как явное доказательство своей невинности. Посельский усмехнулся: какое дело было бы этим мерзким, отожравшимся в войну ряхам из НКВД до его тряпки, если у них глаза загорались нездоровым огнем, едва они только слышали слово «букса».

Они вышли в коридор, и Посельскому сделалось не страшно, а как-то гадко при мысли, что их могут сейчас увидеть, что-нибудь спросить и догадаться, в чем дело. Но никто не обратил на них внимания, и когда, хоронясь за вагонами, они подошли к составу, Георгий Анемподистович подумал о странной вещи. О том, что привязанность людей одного сословия друг к другу, которую большевики называли классовой солидарностью и на которой основали свою власть, не есть, как он всегда полагал, химера. И он помог этой женщине, рискуя собой, только потому, что она так же, как и он, бегала когда-то в гимназию, училась танцевать, играть на фортепиано и говорить по-французски, знала десятки других очень тонких и важных вещей, которые ей совсем негодились, а вместо этого пришлось учиться стирать, готовить, жить в общей квартире и в грязной избе, но наука эта, похоже, оказалась ей не под силу.

Увидев сына, женщина жадно схватила его за руку и стала ругать за то, что он сунулся в эту несчастную буксу, однако по тому, как парень беззлобно и даже снисходительно ее слушал, Посельский понял, что именно благодаря ему они и смогли выжить. И сама мать не столько ругала его теперь, сколько корила. Потом она повернулась к Посельскому и с той старомодной щепетильностью, от которой он давно отвык, отвела его в сторону и спросила, сколько она должна заплатить штрафа.

– Нисколько, – отмахнулся он, закуривая.

– Нет, – возразила она ему, – прошу вас. Мне так будет спокойнее. Чтобы по закону.

Она заметно нервничала, возможно, боясь, что он назовет сейчас большую сумму, но старалась держаться с достоинством, и Посельского вдруг охватило раздражение против беспомощности и никчемности их всех, позволивших загнать себя в подпол.

– По закону? – зло отозвался он. – По закону ему дали бы десятку. Вы как живете-то, милая? По закону? А муж ваш где? – спросил он уже совсем бесцеремонно, но давая себе право на эту бесцеремонность.

– Он умер, – ответила она, смешавшись. – Перед войной.

И вдруг снова заплакала, несчастная, уставшая от того, что не было рядом ни одного близкого человека, и, разом ему доверившись, стала рассказывать, как они получили письмо из Москвы, что их комната занята беженцами и тем удалось прописаться, и как она сорвалась, собралась ехать срочно, билетов не было, едва-едва заплатив немислимые деньги и продав последнее, получили разрешение на выезд на этой платформе, и слава Богу, что так, а то бы просидели еще незнамо сколько в Барнауле.

«Боже мой, – думал он с давно позабытой нежностью, – за что все это?»

– Вы напишите мне, как доехали, – сказал он, – и осторожнее будьте. Не верьте вы никому ради Бога.

– Но вам же поверила, – ответила она, улыбнувшись, и он поразился тому, как была красива эта женщина.

Громадный состав дернулся и медленно потащился вперед, замелькали чьи-то лица, кто-то прыгал на ходу, и Георгий Анемподистович подумал, что ей ехать еще три недели через пол-России, Бог знает что может с ней случиться и как встретит ее Москва. Он вернулся домой, но мысль об этой женщине его не покидала, он вспоминал ее лицо, ее слезы, ее доверчивость, недетские цепкие глаза ее сына и вдруг поймал себя на ощущении, что остался таким же сентиментальным чудачком и будет жить этим воспоминанием много лет.

Однако некоторое время спустя он почувствовал день ото дня растущую как опухоль тревогу. Она будила его на рассвете и, ненадолго исчезнув, потом вновь о себе напоминала, и Посельский понимал, что эта тревога связана с той женщиной. Наконец он получил от нее письмо.

«Милый, чудесный мой Георгий Анемподистович! Я молюсь за вас день и ночь. С вашей легкой руки наша жизнь переменялась. Сначала было трудно, и я уж совсем отчаялась. Поселившиеся в нашей комнате люди встретили нас враждебно, в комнату не пустили, и нам пришлось жить на кухне и в коридоре. Я решила подавать в суд, но теперь такая необходимость отпала. Они сказали, что скоро уедут сами, а пока что помогают нам и относятся как к родным. Я рассказала им о вашем благородстве, и они согласились со мною, что это мне Бог вас послал...»

Дальше читать он не смог. У Посельского потемнело в глазах, он откинулся на спинку стула и стал растирать виски. По радио на всю станцию передавали сообщение из Москвы, где шли на параде Победы солдаты и бросали к Мавзолею вражеские знамена, а здесь, в Варавинске, было жарко, душно и выли по домам солдатские вдовы.

Посельский прижался лбом к стеклу и, подавив первую волну страха, подумал, что жалеть ему не о чем, все именно так и должно было быть, и он знал, что этим кончится.

Неделю спустя за начальником станции пришли, и очень скоро в Варавинске о нем позабыли, только вспоминала его иногда молочница и ставила в открывшейся после войны церкви на всякий случай сразу две свечки: одну за здоровье, другую за упокой.

Покров

Максимов проснулся на рассвете от холода. За ночь дощатый дачный домик выстудило ветром, на окне колыхалась занавеска, а за ней в полумраке сада было видно, как летят листья и бьются о провода голые ветки рябины. Он закрыл глаза и попробовал уснуть, но холод был сильнее сна, он встал и больше уже не ложился, с самой первой минуты этого дня почувствовав странное, растущее беспокойство в душе, и обычное его состояние довольства собой из-за каких-то мелочей уступало место необъяснимой безрассудной тоске. Он бесцельно бродил по убранному на зиму чистому дому, затем по саду – осень в тот год выдалась поздней, уже близилась середина октября, и только в этот день, неожиданно ветреный и холодный, стали облетать листья, и с глухим стуком падали крепкие желтые яблоки, освобождая уставшие ветки. В садах кричали птицы, вдалеке на военном полигоне раздавались торопливые автоматные очереди, и не хотелось ничего делать – ни собирать плоды, ни укрывать на зиму молодые деревья, он ходил по грядкам, оставляя следы на мягкой жирной земле, и пытался справиться с тоской.

К полудню выстрелы стихли. Максимов взял пакет, положил его в карман телогрейки и отправился на полигон за поздними грибами. А тоска все не унималась и постепенно переходила из даже приятного своей новизной состояния в глухую сосущую боль сродни зубной. Он прошел через многочисленные дачные участки, дважды пересек узкоколейку и вышел на шоссе, где его сразу же окатило пронзительным, разогнавшимся на открытом пространстве ветром, и Максимов вдруг вспомнил, как когда-то давно он ходил по этой дороге со своей бабушкой, и одновременно с этим подумал, что ни разу не был у нее на могиле, да и не вспоминал почти, но теперь вся эта местность – нескладные, неровные поля, пруды рыбхоза, озеро, лес, линия электропередачи, извивающееся шоссе и трубы асфальтового завода на горизонте под низким несущимся небом – все это напомнило ему ее, и в этих воспоминаниях он ощутил нечто неприятное. Он попытался их отогнать, но воспоминания оказались сильнее, точно и были той самой томившей его с рассвета тоской.

Последний раз Максимов видел бабушку в больнице. В большой палате было много женщин, тяжело пахло, и, пока он стоял на пороге и искал знакомое лицо, женщины в цветастых халатах пристально на него глядели, но ничего не спрашивали. Бабушка лежала с закрытыми глазами у самой двери, он тихо присел на кровать – она повернула голову, и он спросил:

– Спишь, ба?

– Нет, – отозвалась она равнодушно, – я здесь совсем не сплю – боюсь. Я все лежу вспоминаю что-то.

Он чувствовал себя очень неловко, ему казалось, что все прислушиваются к их разговору, и он стал торопливо говорить на приятную для бабушки тему, про дачу, что уже копают огород – она безучастно кивала, то ли слушая его, то ли нет, а потом через силу проговорила:

– Мне б до лета только дожить, еще б одно лето, – сказала она и посмотрела на него с какой-то мольбой, от которой некуда было деться, и непонятно было, как себя вести, что ответить и что делать с этим жутким одиночеством умирающего человека. Он отвел глаза, а когда снова посмотрел на нее, то ее лицо показалось ему безжизненным и восковым, как и месяц спустя в гробу.

Ветер усиливался, гудели над головой провода, он был совершенно один на дороге, только несколько раз проехали мимо темно-зеленые крытые машины, в которых сидели солдаты. Но Максимов ничего не замечал, он продолжал вспоминать тусклые больничные сумерки приемных часов и внезапно подумал, что однажды, будучи ребенком, также от нее отрекся. Она шла тогда забирать его из детского сада, где-то по дороге упала и разбила до

крови лицо. Так окровавленная и пришла в сад. Воспитательница уложила ее на кушетку, вызвала неотложку, но смотреть на залитое кровью лицо было жутковато – детей увели, и тогда один из них враждебно спросил:

– Твоя бабка?

Маленький Максимов почувствовал в этом вопросе какой-то подвох, что если он сейчас признается, все начнут его бояться и избегать, как страшную старуху. Он покачал головой из стороны в сторону и убедил себя в эту минуту, что стонущая, зовущая его женщина не имеет к нему никакого отношения. Об этом случае никто не узнал, и он думать о нем забыл, но теперь почему-то вспомнил, вспомнил ее неправильно сросшийся нос, и ему сделалось физически дурно, как бывало всегда, когда брали на анализ кровь из пальца. Он опустил на жухлую траву, расстегнул ворот рубашки и стал растирать виски.

Мимо снова проехали машины, остановились, из них выпрыгнули солдаты, растянулись цепью и пошли в сторону пустующих дачных участков. Максимов встал и побрел дальше, поймав себя на мысли, что с той самой минуты, как он покачал в садике головой, в нем появился какой-то изъян, страх перед своей и чужой кровью, и этот изъян дает теперь о себе знать, давал знать всю жизнь, и ему стало жаль самого себя, идущего по дороге без смысла и без нужды под подозрительными взглядами людей в линялых шинелях.

Солдаты встречались ему теперь через каждые двести метров – они стояли группками в касках, с рациями и автоматами на груди, и было что-то тревожное, пугающее в их молчании и настороженности. Максимов ожидал, что его остановят, однако никто ему не мешал идти, и тогда он сам приблизился к одной группе на повороте шоссе.

– Что, мужики, война началась? – спросил он, стараясь придать голосу беспечность.

Они повернулись к нему, и тот, что был выше ростом, совсем молоденький, безбровый, почти мальчик, с дрожащими от холода и волнения пальцами на черном рожке автомата, ответил с готовностью:

– Да сбежал тут один. Ладно б молодой или черпак. А то месяц ему оставался. А он взял автомат и махнул.

– Тут уж все схвачено, уехал давно, – пробасил другой.

– Да какое там схвачено? Он дуриком побег с полигона. Спрятался где-нибудь на даче, а дач этих тыща. Моча вдарил в голову, а мы ищи его теперь.

– В лес-то можно пройти? – спросил Максимов.

Солдаты помолчали, и самый старший с погонами сержанта, кашлянув, покачал головой:

– Нет, гражданин, в лес не надо.

Максимов усмехнулся и повернул к дому, но потом представил холод и одиночество террасы, скрипение половиц, шум ветра и вкус подогретой тушенки и свернул в сторону деревни, куда они ходили когда-то с бабушкой за молоком.

Сгущались сумерки недолгого октябрьского дня, в домах зажглись огни, и издали казалось, что они дрожат и стынют на ветру. Он вошел в деревню и очутился около церкви, окруженной запущенным кладбищем с неухоженными могилами и большой доской у входа, на которой было написано: «Кладбище закрыто, захоронения не производятся». Церковь была слабо освещена, внутри было сыро, на грязных с разводами стенах висело несколько икон, виднелись аляповатые фрески, и высокими голосами пели старухи.

Он встал у входа и попытался понять, что они поют, но слов было не разобрать, только одно он слышал: «Покрый нас от всякого зла».

«Кто нас покроет, – подумал Максимов, усмехнувшись. – Кому мы нужны, кто спасет и защитит сглупившего солдата от наказания и даст мне сказать, что та окровавленная старуха была моей бабушкой?» Он стоял, как ему казалось, очень долго, покуда высокий скуластый поп, чем-то неуловимо похожий на сержанта, запретившего Максиму идти в лес,

обходил храм, махал кадилом перед каждой старухой, обстоятельно, не торопясь отвечая на их поклоны, махнул и перед выпрямившимся Максимовым, с любопытством глядя на его лицо, – у Максимова заболели ноги, захотелось сесть, но старухи стояли и продолжали петь. «Откуда в них столько силы, откуда в них есть то, что и в малой толике не досталось мне? Откуда были силы у моей бабушки каждую весну ездить на дачу и копать огород, мирить драчливое семейство, откуда были у нее силы в войну вывезти малых детей в эвакуацию и спасти их от голода? Откуда все это? От Бога? Но в Бога-то она не верила, отреклась от Него, выбросила все иконы, когда муж от нее ушел. Покрый нас от всякого зла. Может быть, их-то и покроет, но нас уж не покроет никто – ни во что не верящие, унылые люди, ловят друг друга на пустых дачах, рвут друг другу глотки, и смешно ждать, что этих людей кто-нибудь спасет. Мы грешить-то научились прежде, чем нам семь лет исполнилось, и единственный наш человеческий поступок – это сорваться и убежать за месяц до приказа, отвести душу и сгинуть на веки вечные».

И он почувствовал солдата, за которым шла охота по всей округе, почувствовал его тоску, озверение и вместе с этим ощутил в самом себе поднимавшуюся злобу к пению, к нежным старушечьим голосам и непонятым словам на чужом языке, к свечам, иконам, ко всему этому благолепию среди сырости и развала и с трудом удержался от того, чтобы не выскочить на середину храма и не закричать, что его обидели, что на его долю ничего не осталось – ни веры, ни безверия, ни сомнения, что он мертвым родился и ему страшно жить мертвым, страшно смотреть на них, спасшихся, сохранивших себя, так же страшно, как загнанному солдату внутри сжимающегося кольца облавы, как страшно было бабушке не дожить до лета.

Он в бешенстве выскочил из церкви и пошел скорым шагом прочь, не разбирая дороги, сел на лавочку у дома на краю деревни, закурил и сидел так очень долго, покуда из дому не вышел улыбающийся старичок в потрепанном темно-зеленом кителе.

– В церкви были? – спросил старичок уважительно.

Максимов хотел подняться и уйти, потому что не любил случайных разговоров и незнакомых людей, однако в старичке ему почудилось нечто притягательное, и он остался.

– Ну был.

– А я туточки служил, – похвастался старичок, покачиваясь. Он был слегка пьян, но ровно настолько, чтобы излучать веселость и умиление. – Два стихаря сносил. Потом уж, конечно, как в партию вступил, так уж нельзя стало служить. А так-то я всю службу знаю.

– А давно церковь открыли? – спросил Максимов.

– Ее и не закрывали вовсе.

– Нет, лет двадцать назад она была закрыта. Ты просто, батя, не помнишь.

– Я не помню? – обиделся старик. – Я, милый, все помню. Слава Богу, тут родился, тут и помру. И похоронят меня тут, – добавил он угрожающе, – ясно? Правильно, лет двадцать назад, конечно, не служили. Но это потому, что батюшки не было. А нынче батюшка есть, вот и служат.

– Может, и так, – отозвался Максимов равнодушно.

– Не может, а точно. Я что говорю, то знаю. Церква-то у нас интересная, – разговорился старичок, – ее еще в восемнадцатом веке строили. А потом у Наполеона тут конюшня была. Удобно, конечно, места много, и водопой рядом. Ну а как немца прогнали, так мужики церкву спалили и новую выстроили. Каменную.

– Зачем спалили?

– В поганую идти никто не хотел.

– Нет, батя, – сказал Максимов, вздохнув, – и Наполеон не немец был, и дальше Москвы он не ходил.

– Ходил, – возразил старичок рассерженно. – Наполеонова конница до Богородска, Ногинска нынешнего, дошла, там повернула и стояла у нас тут до самого Покрова. Ты моло-

дой, вот и не знаешь, а мне прадед сказывал. Построили они, значит, каменную, освятили ее и служили до тех пор, пока последний батюшка не преставился. Батюшка-то странно помер, – сказал старичок задумчиво. – Он ишь в Кучино поехал за роялью для дочки. Купили они, с ним еще один мужик наш был, а на обратном пути в Обдираловке батюшка в уборную пошел. Григорий двадцать минут его ждал, полчаса, замерз уж весь, но беспокоить не решался – мало ли что, да ведь человек непростой, лицо духовное. А потом заглянул: отец-то наш Кирилл сидит мертвый на очке. Прямо там его удар и хватил. Старухи говорили тогда, что смерть дюже поганая, а батюшка честный был, добрый, порядок при нем был. А как помер он, так церкву и разворовали. Свои же, верующие, – заключил он и поучающе поднял палец.

– А потом что было?

– А потом война началась, – ответил старичок печально.

Он был весь такой беленький, опрятный, благостный, и Максиму стало возле него необычайно тепло, захотелось, чтобы старик пригласил его к себе в дом, чтоб они выпили водки и старичок долго рассказывал о себе, о церкви, о войне – обо всем, что не успела рассказать мучившаяся бессонными больничными ночами бабушка, но на крыльцо вышла женщина средних лет и сердито позвала старика.

– Доча кличет, – сказал он. – Боится, захвораю я после бани.

– Что ж вы сразу-то не сказали, что после бани, – пробормотал Максимов, устыдившись, – вы идите тогда поскорее, дедушка.

Старик ясно взглянул на него, загадочно усмехнулся и скрылся в доме. Снова оставшись один на едва освещенной улочке под качающимися фонарями, Максимов ощутил давешнюю тоску и медленно побрел к топкому берегу озера, где поили когда-то лошадей наполеоновские немцы.

В темноте не было видно, где кончается берег и начинается вода, и, едва не замочив ноги, Максимов подошел к мосткам, откуда когда-то нырял солдатиком и тут же рядом ловил, намотав на палец леску, не боявшихся шума разбойных окуней. К мосткам была привязана лодка, и Максимова вдруг потянуло на середину озера. Он отвязал лодку, выдернул кол и оттолкнулся от мостков.

Дул северный, по-прежнему неутихающий ветер, лодку тащило вдоль берега, он отталкивался шестом ото дна и каждый раз касался ила, и его вдруг охватил безотчетный страх: когда-то в этом озере была глубина десять метров – теперь же он всюду доставал трехметровым шестом, в темноте над ним шли сухие тучи, и оттого, что озеро обмелело, а небо было пустым и не видно ни зги вокруг, даже деревня казалась отсюда вымершей, и такими же мертвыми были генеральские дачи на противоположном берегу. От ветра, холода и одиночества Максимов почувствовал страшную боль и невыносимость быть самим собой, тридцатилетним никчемным человеком, обслуживающим холеных, брезгливых интуристов в экскурсионном бюро. Он тыкал шестом в дно, ища глубину, но шест мягко касался ила, застревал в нем, и слабо плескала о борт лодки вода.

Он бросил шест, сел на подгнившее деревянное сиденье, его вспотевшее тело быстро стыло на ветру, и он снова представил себе солдата, пустой дом, автомат на окне и стягивающуюся вокруг петлю – рации, собаки, автоматы. Что можно делать, их поджидая, – курить, громить дом, просто лежать и ни о чем не думать? Хрупкий, загнанный человек, не захотевший или не смогший дожить какой-то паршивый месяц, обретший в ту минуту пустую, безвкусную свободу и лишь моливший Бога, чтобы Он продлил эту ночь, как молила когда-то бабушка о сострадании, молила о возможности дожить ей до лета, всего одного лета, и вонми Он ей – дожила бы.

– Дожила бы, – пробормотал Максимов. Перед глазами была темная вода, на которую вдруг упал отблеск осветительной ракеты, и в воде замелькали кони, Наполеон в эсэсовской

форме, дрожащие пальцы на холодном рожке «калашникова» и окруженная насупившимися мужиками, погибающая в пламени деревянная церковь. – Христиане, – процедил Максимов сквозь зубы, – европейцы, интуристы – в церкви конюшню устроили. А эти тоже хороши – сожгли, разворовали, а потом помирают поганой смертью. Боже, Боже...

Где-то над садами опять взлетела ракета, осветила на мгновение местность, и Максимов увидел, что лодка стоит у прибрежных кустов, и сразу же за ними начинаются заборы недавно построенных дач, похоронивших под собой вытекавший из озера ручей. Он выскочил на берег и пошел по дороге, затем свернул на узкоколейку. Заслышав его приближение, лаяли чуткие сторожевые собаки, светили в лицо, а потом в спину синим светом светофоры, начался мелкий дождь, а он шел и шел, не оборачиваясь и не поднимая головы, уже не понимая, куда и зачем он идет, как вдруг услышал за спиной урчание дизеля, возившего с карьера песок, и душа его отозвалась детским воспоминанием, таким далеким, словно было это еще до той поры, когда ржали в старой церкви сытые кони завоевателей. Он вспомнил, как ребенком, едва научившись ходить и не умея еще говорить, выбегал из дому смотреть на паровоз и как иногда их подвозил на станцию пожилой машинист с пыльным лицом, больше никого не брал, а ради них останавливал громадный состав, и маленький Максимов жался к бабушке и глядел, встав на цыпочки, вокруг, на дома, рощи, сады и синь глубокого чистого озера.

Дизель был все ближе, и Максимов увидел в свете прожектора свою громадную расплывчатую тень. Постепенно она стала уменьшаться, резче обозначались контуры, сзади раздался отчаянный свисток, и Максимов побежал.

Он бежал по полотну как загнанный зверь, не в силах свернуть на обочину, а паровоз уже настигал его, он становился все больше; и напрасно было бежать, нужно было остановиться и уступить ему дорогу, но Максимов бежал. Он не слышал теперь ничьих криков, ни лая собак, не слышал, что дизель остановился, повинуясь команде, и продолжал убежать, чудом попадая ногами в шпалы и не спотыкаясь. Маленькая темная фигура неслась по железнодорожному полотну, и издали было непонятно, кто там бежит, но молодой безбровый солдат в оцеплении с дрожащими от страха пальцами, на которого наступала эта фигура, испуганно пятась, вытянул руки вперед, сорвал предохранитель и, когда беглецу оставалось до него не более двадцати шагов, нажал на спусковой крючок.

Беглец упал на рельсы, ударившись носом о шпалу, и, не успев еще ничего понять, услышал, как паровоз мягко его настиг и поволок за собой, но в первый момент ему стало не больно, а дурно от собственной крови на лице и руках.

– Бабушка, – сказал он, глядя на кровь, – это я, бабушка. Ты не бойся меня.

Он лежал в темноте посреди железнодорожного полотна, к нему бежали со всех сторон люди, что-то кричали и толкали оцепеневшего автоматчика, лаяли овчарки, потом снова включили прожектор дизеля, но беглец ничего не слышал и не видел, а только чувствовал страшный холод земли, холод рельсов, холод гауптвахт, обмелевшего озера, полуразрушенной церкви и могилы на Введенском кладбище, холод отхожего места на станции Обираловка – вселенский холод собственного сердца и свою незащитность перед этим холодом, и он стал биться на носилках, судорожно мотая головой и хрипя. Тогда кто-то из солдат скинул с себя шинель и укрыл его. Беглец еще несколько раз повернулся, а потом затих.

Паломники

Начну с вопроса, прямого отношения к данному сюжету не имеющего, но довольно занятого. Кто из вас скажет, как возникло слово «паломник»? Вопрос, ей-богу, достойный того, чтобы попасть в игру «Что? Где? Когда?», и даю голову на отсечение, что высоколобые снобы не найдут правильного ответа. Но, впрочем, к делу, а что до этимологии, то любознательный читатель все узнает в конце.

История, которую я собираюсь вам поведать, произошла в ту пору, когда хитроумной телевизионной игры, кажется, не было в помине, а на дворе стояла всем нам памятная эпоха элегических вздыханий о верности единственно правильному курсу. То было время всеобщего не застоя, но томления. От этого томления все вокруг ударялись кто во что горазд: в буддизм, экзистенциализм, хатха-йогу, рок-музыку, астрологию, оккультизм, спиритизм, анекдоты, адюльтеры, вольнодумство и квазидиссидентство, в писание стихов и прозы, валяли дурака, хиппействовали, рано женились и быстро разводились, бражничали, блудили и, сами того не ведая, приближали катастрофу, разразившуюся нынче.

Однако были среди пестрой и унылой интеллигентской массы особые люди, пытавшиеся впотьмах нащупать путь истинный, следуя известному завету – блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. Много или мало было таких людей, откуда брались они в нашем порочном и суетном мире и откуда брали силы, чтобы сохранить себя и противостоять искушениям и соблазнам эпохи, – все это одному Богу ведомо. Очевидно лишь то, что их молитвами и трудами стояла и стоит земля и не пришел на нее последний и страшный час, о котором было столько грозных пророчеств.

Одного из таких людей я имел счастье знать, когда учился в университете. И хотя теперь в силу своего положения он стал мне недоступен и вряд ли меня помнит, память о нем живо сохранилась в моем сердце, равно как и удивительное паломничество в Троице-Сергиеву лавру, совершенное нами на заре туманной юности.

Человека этого в ту пору звали Пашей Благодатовым, но все мы из уважения именовали его Павлом Васильевичем. Происходил он из старого священнического рода, но в отличие от традиционно замкнутого и немного надменного православного люда Благодатов не чурался своих греховодных сверстников, беззастенчиво предававшихся нехитрым радостям в студенческой жизни. В перерывах между тоскливыми лекциями и веселыми посиделками он вел с нами душевные и занимательные беседы, снабжал духовной литературой, им самим переписанными текстами служб и молитв, брал с собою в храм, и все это получалось у него очень ненавязчиво и тактично.

Пожалуй, нас привлекало не столько спасительное учение, сколько сама личность Павла Васильевича, и именно по этой причине его катехизаторская деятельность была не столь успешна. Стоять долгие праздничные службы сил и терпения у молодых охломонов не доставало, и обычно все заканчивалось заурядной пьянкой у кого-нибудь на дому или в дворницкой, где все надиралось до зеленых соплей – это называлось «в честь праздника» – и совершали хулиганские выходки вроде того, чтобы написать глухой ночью на стене Дома атеизма: «Долой ссученных безбожников!».

Но несмотря на то что мы оставались глухи к таинствам православной веры, покаянию, посту и молитве, Павел Васильевич не отчаивался и в утешение себе или нам говорил, что душа по натуре христианка, а Дух дышит, где хочет. В свою очередь мы души не чаяли в нашем товарище и готовы были идти за ним хоть на край света, когда бы не духовная немощь. И именно для того, чтобы укрепить наш дух и подвигнуть на нравственное восхождение, Благодатов однажды предложил возродить благочестивую традицию и совершить

пешее паломничество от Кремля до Сергиевой обители и таким образом достойно встретить праздник Успения.

Идея эта была принята на «ура», и собрались поначалу идти человек десять, но по мере приближения назначенного времени число участников по разного рода причинам – от страха ради иудейска до обыкновенной лени – сократилось, и у проезда возле Исторического музея на месте бывшей Иверской часовни нас оказалось всего трое.

Третьим участником нашего путешествия был маленький черненький человечек с пронзительными, чуть раскосыми глазами, имевший два прозвища – Хо и Малой. Этот Хо был во всех отношениях живчик необыкновенный, хоть и отличался весьма щуплым телосложением. Если верно, что в ту пору у всех у нас в головах была каша, то Хошкины мозги представляли собой просто мусорную свалку из интеллектуальных и духовных отбросов, от романов Гессе до убогих песенок питерской группы «Аквапарк». Собственно, и любезное Благодатову православие он рассматривал как очень клеветную примочку, коей недостает, однако, некоторой пикантности, как в дзене, и которая вообще нуждается в известной модернизации, о чем они с Павлом Васильевичем любили долго и нудно спорить, но так никогда и не находили общего языка.

Вообще-то появление Хони на месте сбора показалось мне совершенно невероятным. Он был слишком капризным и изнеженным существом для того, чтобы пройти пешком семьдесят с лишним верст, но настроен он был весьма решительно. Одет он был по тогдашней университетской моде в рваную телогрейку, привезенную с картошки, ботинки «прощай, молодость», а за спиной у него висел вещмешок, с которым обычно отправляются на службу стриженные призывники, только из сидора торчала гитара.

Благодатов покосился на инструмент, но ничего не сказал. Игумен наш был светел лицом и зело сериозен. Он торжественно прочел молитву о начинании богоугодного дела, степенно перекрестился на Покровский собор, и мы отправились. Путь наш лежал через площади Свердлова и Дзержинского на улицу Жданова и дальше в сторону Безбожного переулка, на проспект Мира и ВДНХ. Погода заворачивала на осень, было прохладно, и довольно бодро мы топали по людным московским улочкам. Благодатов и Хо по обыкновению затеяли спор на очередную богословскую тему и обсуждали личность какого-то отца, вздумавшего служить у себя в храме на русском языке и получившего за это строгий нагоняй от начальства (Хоня горячо защищал батюшку-реформатора, а Павел Васильевич его порицал), а я покорно плелся у них в хвосте и думал об одной очень милой женщине, неделю назад ласково сказавшей мне «нет», потому что все это безумие, и у нее есть муж, и я ее должен понять. И я понял и, чтобы заглушить свою боль, шагал за двумя философами, пытаюсь не потерять их в толпе и настроить мысли на богомольный лад, но получалось это у меня плохо. Возлюбленная моя не шла у меня из головы, и сама идея тащиться двое суток пешком, вместо того чтобы ехать полтора часа на электричке, представлялась мне даже не анахронизмом, а обыкновенным пижонством.

К шести часам Москва осталась позади, но лучше от этого не стало. Поток машин прижимал нас к обочине, ноги гудели, но мы продолжали наше движение, прихватив где-то палки, символизирующие посохи, и, вероятно, изрядно досаждая водителям. Так мы дошли до Мытищ, только здесь задумавшись о ночлеге, – дума, отчего-то не приходившая в наши непрактичные головы.

Полный сил Благодатов был готов идти хоть всю ночь и предлагал развести где-нибудь костерок и посидеть, погреться час-другой, но всякий, кто представляет себе Ярославское шоссе в этом районе, поймет, сколь нелепой была подобная затея. Вокруг тянулись без конца и без края заборы, промзоны, склады, гаражи, дома, и ни о каком костре не могло быть и речи. Стало уже совсем темно, голодно и холодно, и в голове у сломавшегося первым Хошки возникла мысль о немедленном возвращении в Москву на электричке – мысль, кою он мне

шепотом высказал. Я неопределенно пожал плечами – Благодатов имел надо мной власть таинственную, и оказаться в его глазах отступником я не мог, хотя перспектива всю ночь идти или сидеть в лесу мне не улыбалась. Однако ж когда в Подлипках начался дождь, я почувствовал, что малодушие охватывает и меня. Хо все больше нервничал и ни в какие теологические диспуты не вступал, но Павел Васильевич, улыбаясь в отросшую за лето бороду, приговаривал, что Бог нас не оставит, пошлет где-нибудь стожок сена.

Быть может, в ту ночь мы и дотопали бы до какого-нибудь Божьего стожка, но в Тарасовке нам неожиданно попался на глаза указатель «Общежитие текстильного института».

– Вот там мы и заночуем, – радостно воскликнул Малой, для которого любая общага была роднее дома.

Не дожидаясь ответа, он свернул с шоссе и пропал во мраке. Нам ничего не оставалось, как следовать за ним.

Несчастное это общежитие мы искали почти час. На подмосковный поселок опустилась ночь, спросить дорогу было не у кого, из-за глухих высоких заборов лаяли собаки, в одном месте мы наткнулись на группу поклонников «Спартака» и едва унесли от них ноги, и когда наконец дошли до четырехэтажного кирпичного здания на левом берегу речки Клязьмы, время клонилось к полуночи и пускать трех подозрительных мужиков никто не захотел.

Делать было нечего, мы развернулись и пошли, но тут при тусклом свете уличного фонаря на соседнем здании мелькнула вывеска «Женское общежитие». Благодатов прошел мимо, но Малой, вскинув руки, взбежал по лестнице и стал стучаться.

– Да ты в своем уме? – засмеялся я. – Кто нас туда пустит?

– Вот сюда-то и пустят, – ответил он и оказался прав. Минут через пять из полумрака вестибюля показалась заспанная деваха и ничтоже сумняшеся отверзла нам дверь.

– Вы к кому, ребята?

– Нам бы, сестрица, переночевать. Странники мы, – молвил Хо.

– Кто-кто?

– Дождь на улице,пусти нас, добрая женщина.

– Ну заходите, – ухмыльнулась она.

– Спаси тя Христос, – сказал он, картинно поклонившись, и торжествующе обратился к нам:

– Пойдемте, братове.

Мы вошли, прислонив свои палки к двери, и направились к дивану в углу, где стояла большая кадка с развесистой финиковой пальмой. Девица снова засмеялась и ушла, а мы расположились на диване, повесили мокрые куртки, разулись и блаженно растянулись. И впрямь можно было подумать, что этот диван под пальмой послал нам добрый ангел.

Однако ж, видать, черт тоже не дремал, и тут подросла другая дамочка, лет тридцати пяти, весьма плотного телосложения, с крупными чертами лица и рысистыми глазами. Оказалось, что это была весьма некстати проснувшаяся комендантша.

– Вы кто такие? – налетела она.

– Богомольцы мы, калики перехожие, – пробормотал Хо со своей дурацкой улыбочкой, но на комендантшу его слова не действовали.

– Здесь вам, молодые люди, не проходной двор, – отчеканила она, – а потому извольте выйти вон.

В холле было тепло, на улице выл ветер, на нас не было сухого места, и я запоздало подумал, что теперь уже и последняя электричка в Москву ушла.

– Грех на душу, – сказал Хо замогильным голосом. – Божьих людей обижать – беды не оберешься.

– Вон, я вам сказала! – повторила женщина истерически. Наверное, надо было объяснить ей, что никакие мы не странники, а обыкновенные студенты, и неужели с их общечеловеческим убудет, если мы посидим до утра на диване – но есть женщины, одного взгляда которых достаточно, чтобы пропала всякая охота говорить, и всякая погода покажется сносной.

– Пойдемте, – сказал Благодатов решительно, – простите нас.

Бог его знает, но, видно, было в нашем общем друге некое свойство, подобное тем, что защищало отцов-пустынников и лесных отшельников от диких зверей, превращая львов и медведей в самую кротость.

Едва Благодатов выступил из тени и заговорил, суровый лик комендантши смягчился, просветлел, голос у нее дрогнул, и она неуверенно произнесла:

– Впрочем, если... А документы у вас какие-нибудь есть?

Документ был у Благодатова. Она благоговейно взяла его паспорт, пролистала, посмотрела прописку и графу «семейное положение», положила паспорт к себе в карман и приветливо пропела:

– А что ж вы здесь-то? Здесь и неудобно. Давайте я вас в комнату какую отведу.

По дороге нам попадались девицы в халатах с распахивающимися полами и распущенными волосами, они с удивлением провожали нашу маленькую группу, глупо хихикали и отпускали шуточки – словом, обстановка для богомолья была самая что ни на есть подходящая. Благодатов не знал, куда девать глаза, я опять затосковал о своей милой, а Хо, наоборот, оживился, подмигивал девицам и шепотом говорил мне, что в этом раскладе есть нечто феллиниевское.

Наша провожатая привела нас в крайнюю комнату на этаже, где стояли четыре кровати с голыми сетками, а стены были украшены голыми мужчинами и женщинами. Комендантша выдала матрасы и одеяла, пожелала спокойной ночи и, покраснев, удалилась.

– По-моему, она хочет тебе отдаться, – сказал Хо Благодатову меланхолично и принялся выгружать из сидора тушенку, охотничью колбасу, какие-то пирожки, пряники и особо торжественно – бутылку «Московской особой» с зеленой этикеткой.

И тут Благодатов, который при всей своей благочестивости был сам не дурак выпить, рявкнул:

– Убери!

– Почему? – спросил Хо испуганно.

– Потому что сейчас пост.

Малой начал увертливо оспаривать сие утверждение и говорить, что в пути шествующим разрешается послабление, – ему хотелось спасти хотя бы колбаски, – но, взглянув на непривычно сурового игумена, обреченно спросил:

– Чаю-то хоть можно?

– Чаю можно.

В полном молчании мы поужинали и легли спать, но тут в коридоре раздался смех.

– Эй, мальчики, не скучно вам?

– Может быть, вас погреть?

Благодатов заскрипел зубами, Хо заворочался и заскрипел пружинами, шулки из-за дверей стали еще соленее – юные леди, как известно, способны говорить скабрёзности так, что заткнут за пояс любого мужика. Вслед за этим они стали стучать в дверь, и разогнала их и спасла нас от неминуемого вторжения только комендантша.

Наутро Благодатов растолкал нас самым немилосердным образом. Мы скоренько закусили хлебушком, пошвыркали чайку и, попрощавшись с хмурой хозяйкой, отправились дальше по Ярославской дороге. Индустриальная зона кончилась, вокруг тянулись поля и леса, Благодатов неся яростно вперед, и мы с Хоней едва за ним поспевали, но не решались попросить его замедлить шаг.

Так мы миновали Новую Деревню, Пушкино и Софрино, уставшие ноги просили привала, а голодное чрево – обеда, но Павел Васильевич торопил нас в какую-то деревню, где мы должны были отстоять всю ночь. Однако ж он не учел, что в сельских храмах начинают служить очень рано, и когда мы, вспотевшие, приволокли ноги в эту деревню, оказалось, что служба уже закончилась, и церковный староста с внешностью отставного парторботника велел нам убираться.

В глубине души мы с Малым были рады такому повороту, ибо после стольких километров еще три часа стоять было выше наших сил, но Благодатова эта неудача раздосадовала несказанно. Он, верно, рассмотрел в ней своего рода кару за небрежение и погнал нас дальше вперед. Я уже прикинул по карте, что никаких населенных пунктов ни с женскими, ни с мужскими общежитиями на пути не предвидится, о чем и сообщил Малому.

Хоня загрустил, а Павел Васильевич продолжал, как в велосипедной гонке с лидером, рассекать воздух, и мы только диву давались, откуда в его крупном и не очень спортивном теле столько силы.

Несколько раз возле нас останавливались громадные трейлеры, предлагали отвезти куда угодно, хоть до Архангельска, на каком-то посту ГАИ скужающий сержант пообещал остановить любую машину и вмиг домчать до места, мы с Малым с мольбой смотрели на игумена, но Благодатов отрицательно качал головой.

– Раньше, – сказал Хо обиженно, когда очередная машина скрывалась за поворотом, – на этой дороге были странноприимные дома, постоялые дворы, трактиры, а теперь что?

– Трактиров тебе не хватает, – прошипел Благодатов.

Хо вздохнул и обернулся ко мне.

– Брат мой! – сказал он трагически. – Сделай милость, понеси гитару, я так устал.

Я молча взял инструмент – мне было уже все равно.

Меж тем надвигались сумерки. Небо прояснилось, ветер стих, и из наших ртов стал вылетать пар. Ночь обещала быть холодной, одно утешение, что не дождливой. Вожатый наш мерной и упругой походкой преодолевал очередной подъем, а потом, когда первые звезды зажглись на небе, свернул с дороги и объявил, что ночевать сегодня мы будем в ближайшем леске.

Если бы у нас были на то силы, мы бы признали, что место было дивное. Вокруг, сколько видно было глазу с небольшой горушки, тянулись леса, холмы, деревенька с церковью, поля и стога.

– Здесь Нестеров писал «Видение отроку Варфоломею», – сказал Благодатов негромко.

– К-красиво, – простучал зубами Хо. Мы развели костер, покушали сухариков, запили сырой водичкой из фляги. В животе стало еще тоскливее, и мы с Малым сиротливо прижались друг к другу, чтобы хоть как-то согреться. Состояние у нас было такое, что даже вставать и идти за дровами не хотелось, да и в наступившей тьме где бы мы их стали искать, не имея ни фонаря, ни топора?

На Благодатова ни голод, ни холод не действовали. Он очень бодро глядел на затухающий огонек и уверял нас, что скоро рассветет, мы поспеем к ранней обедне, исповедуемся и причастимся как добрые христиане, но эффекта от его слов не было никакого. Мы сломались.

Тогда, глядя на наши истинно постные физиономии, Павел Благодатов уронил слово горькое.

Никогда в жизни я не видел этого мягкого, интеллигентного и снисходительного человека таким разгневанным. Он говорил о том, что мы расхлябанные, изнеженные, неряшливые душой и телом существа, что мы не хотим понять того, что христианская жизнь есть благодарность Богу за все и одновременно невидимая брань с сатаной, что за чечевичную похлебку мы готовы превратить в жалкое посмешище любое начинание, что никакие мы не паломники, не богомольцы, не странники и не калики перехожие, как уверяет один из нас, а

калеки духовные, сиречь шантрапа и экскурсанты, у которых на уме ничего, кроме девочек, вкусной жратвы и пустопорожнего трепачества нет, и если бы он только знал...

Выпалив эти справедливые и убийственно точные слова, но не договорив, что он должен был знать, Благодатов поднялся и скрылся во тьме. Я испугался, что он нас бросил, однако вскоре мы услышали в лесу треск, и Павел Васильевич появился у костра с охапкой дров. Как он уж их там нашел и наломал, может быть, прорезался у него дар ясновидения и появилась недюжинная сила, но только умирающий огонь вспыхнул, затрещал, и к благодатовскому лицу вернулось прежнее добросклонное выражение и даже некая сочувственная насмешливость.

– Но что, цуцки, змерзли?

– З-змерзли.

– Делать нечего, – вздохнул он, – придется снизойти к слабости человеческой. Ну, доставайте, что у вас там есть.

Быстро-быстро, пока он не передумал, Малой извлек из сидора бутылку «Московской особой» и разлил по кружкам. Мы выпили, ощутив, как разливается по телу спасительное тепло, закусили охотничьей колбаской, тотчас же повторили, закурили и стали наперебой восторгаться этой ночью, полями, увиденными сегодня церквями и говорить, какие же дураки те, кто с нами не пошел, и строить планы на будущее, начиная с Оптиной пустыни и кончая Соловками.

Бутылка кончилась неожиданно быстро, я достал из рюкзака вторую. Над нами все ярче горели звезды, душа неслась в рай и просила добавки, и тогда наш предводитель со вздохом вытащил из своей котомки третью, после которой не было уже ни тепло, ни холодно, и Малой стал рваться и призывал нас найти где-нибудь краски, зачеркнуть на всех дорожных указателях похабное слово «Загорск» и написать наш знаменитый лозунг: «Долой ссученных безбожников!».

Впрочем, больше пяти шагов ему сделать не удалось, и, вытащив из сидора гитару, он запел «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет», сонненький и теплый Благодатов лежал на ватнике, щурился на огонь и напоминал сытого, мурлыкающего кота, а я, обливаясь слезами и икая, рассказывал про свою коварную любушку. Так мы гудели до рассвета.

Наконец костер догорел, и на покрытом инеем поле мы увидели стог. Кое-как, качаясь и поддерживая друг друга, калики перехожие добрались до него, зарылись с головами и заснули невинным сном, хранимые и ангелами, и святыми, и самим Господом Богом.

В Лавру мы успели лишь к вечеру следующего дня – к чину погребения. Успенский собор был полон. Служба шла уже несколько часов, и старухи в белых платках, старики, женщины, мужчины, дети – все стояли очень плотно, кланялись, крестились и пели. А потом среди людской массы началось шевеление, и поток народа – никогда прежде я и не думал, что моя первомайская, великооктябрьская страна способна собрать столько людей где-нибудь еще, кроме Красной площади и Лужников, – вынес нас на улицу.

Нас троих развело в разные стороны. Шествие огибало собор, впереди шли монахи с иконами, хоругвями, свечами и плащаницей, пели певчие, и им вторил тысячеголосый, запаздывающий людской хор, нестройно, сбиваясь и то и дело подхватывая песнь, в руках у молящихся горели свечи, и рядом со мной вдруг оказалась женщина лет пятидесяти. Она выглядела обыкновенно, как выглядят миллионы русских баб в бесформенных пальто и платках, точно только что вышла из магазина. Но глядя на плывущую над головами, украшенную цветами плащаницу, она вдруг заплакала: «Матушку Божью несут», – заплакала так, как будто здесь, сейчас, в эту самую минуту, в самом деле хоронили Богородицу и несли настоящий гроб. Она крестилась, плакала, дрожала, и меня, экскурсанта и шалопая, христианствующего пижона, продрал озноб. При тусклом свете фонарей я увидел Благодатова и Хо. Павел Васильевич стоял молча, сурово, выпрямившись и строго глядя перед собой, как воин в карауле,

а дурашливый Малой с сидором и гитарой упал на колени и спрятал голову, сжавшись в комочек. Гриф торчал из-за его головы и мешал тем, кто стоял впереди.

Шествие остановилось у двери, пение сделалось еще стройнее и сильнее, и я тоже пел со всеми, уже ничего не помня и не ощущая обыденного, но точно растворяясь в этой толпе и извне чувствуя, что душа и в самом деле христианка, а Дух дышит, где хочет, — и все глядел, глядел на колыхание огней в застекленных свечах в руках у монахов.

С той поры миновало более десяти лет. Благодатов вскоре после окончания университета поступил в семинарию и теперь служит в одной из многочисленных заново открывшихся московских церквей. От его милой интеллигентности, говорят, не осталось и следа, он известен необыкновенной монашеской строгостью, весьма взыскательно всех исповедует, накладывает епитимьи и отлучает от причастия, и, вспоминая его речь у костра, я нисколько не сомневаюсь, что выходит у него это великолепно.

А маленький Хо уехал по приглашению в Париж, да там и застрял. Сперва он пел в какой-то религиозной рок-группе и работал садовником, а теперь всерьез занялся богословием и пишет труд, который сам определил как православный по содержанию и модернистский по форме. Он много печатается и в тамошней, и в нашей прессе и хорошо известен как сторонник немедленного реформирования отечественного вероисповедания.

Каждый из них достиг, наверное, чего хотел, и вряд ли они помнят наше паломничество в Лавру, ночлег в женском общежитии, комендантшу с рысистыми глазами и пьяный костер в Радонеже в успенскую ночь. Но когда я вспоминаю все это, то мне кажется, что никогда мы не были так близки к Богу и никогда не были ему так открыты наши сердца, и мне бесконечно жаль, что время этой душевной неопытности и открытости безвозвратно ушло.

А слово «паломники» происходит от слова «пальма», потому что в древние времена калики перехожие, ходившие на поклонение к святым местам в Иерусалим, возвращались оттуда с пальмовыми ветвями.

Кальвария *Карпатская быль*

Со всех сторон Лесковец окружали горы, темные от стройных еловых лесов, с нежно-сизыми зимой вершинами, прозрачными речками, лугами и крутыми склонами полей, обнесенных плетнем. Дорога к саду долго вела через мосты, перебегая с одного берега реки на другой, ее теснили скалы и нависшие сверху корни смеричек, она петляла, сужаясь в некоторых местах так, что с трудом разъезжались две подводы. Зимой, когда перевалы засыпал снег, и по весне, когда реки набухали водой и сносили мосты, Лесковец оказывался надолго отрезанным от долины. Люди привыкли к своей заброшенности и жили словно в особом мире, неторопливо и ни на кого не оглядываясь: строили на склонах новые дома, забираясь все выше в горы, сажали картошку и сеяли пшеницу и ячмень, разводили овец, ткали, охотились, ворожили. Жили не богато, но и не бедно, парни и девки женились и выходили замуж часто за своих, и полсела были друг другу родственниками. Случалось, что к лесковецким девкам засылали сватов из больших долинных сел, и молодухи слыли в этих селах ворожками, знали секреты трав, умели лечить от зубной боли и укусов змеи, могли приворожить парня к девке и поссорить мужа с женой, а ночами им все снились горы, где хаотично лепились небольшие дома с черепичными крышами.

Только раз в году, на праздник Воздвиженья Креста Господня, в село приходили люди со Львова, с Волини, с Почаева, со Станислава и с Перемышля, приносили иконы, хоругви и устраивали крестный ход от нижней церкви Архистратига Михаила к верхней Крестовоздвиженской по святому пути Спасителя на Кальварию. По обе стороны долгой, выходящей по склону дороги через каждые полверсты стояли часовенки-каплички, около них молились, пели гимны, читали Писание и вспоминали Христовы страсти. Приезжали епископы и кардиналы, сухие, поджарые, в черных шапочках с умильными лицами и настороженными глазами, приходили православные монахи из Монавского скита, крестьянки приводили больных детей для исцеления к Честному и Животворящему Кресту, собирались сотни, а то и тысячи людей, потом жизнь снова замирала на целый год.

И ничто не нарушало течение этой жизни, усыпали одни люди и приходили другие, время от времени умелые плотники подновляли каплички и храм и, умирая, передавали свои топоры и секреты сыновьям, и казалось, будет вечным это поклонение Кресту, но однажды пришедшие на праздник люди числом гораздо меньшим, чем обычно, принесли с собой тревогу и страх начавшейся новой войны, расстрелов и концлагерей.

Немцы прошли Лесковец стороной, но уже поздней осенью в селе появились голодные и нищие женщины, дети и старики. В первую зиму хлеба было вдосталь и давали всем, кто просил, но на следующее лето посеяли меньше обычного и стало не хватать самим. А нищие все шли и шли и рассказывали о том, что происходило внизу, и просили хлеба и крова, но люди стали пугливыми, мужчины тайно уходили из дома, опасаясь немецкой мобилизации, ходили слухи о бандитах и разбое на хуторах, и деревня казалась вымершей.

В один из таких зябких осенних дней, ближе к сумеркам, в село пришла девочка лет тринадцати. Она была одна и точно невменяема, шла, переходя от дома к дому, заглядывая и стуча в темные окна, но всюду ее встречали безмолвие или лай собак. Наконец у крайнего дома она толкнула калитку, вошла во двор и села на крыльцо, опустив голову на колени и подобрав под себя руки. Через некоторое время дверь отворилась, и из дома вышла, прихрамывая, худая высокая женщина в темном платке, надвинутом на самые брови. Женщина пригляделась внимательнее и увидела детское лицо с высоким лбом, острым носом и плотно

сжатыми, бескровными губами. Девочка посмотрела на нее равнодушно и устало и приготовилась встать, чтобы уйти, однако хозяйка кивком головы позвала ее в хату.

Хозяйка – в селе ее звали Кудричкой – проснулась, когда в хате стало совсем светло, как только может быть светло тусклым, промозглым осенним утром. Она долго лежала, не вставая и вслушиваясь в тишину, потом слезла с кровати и, приволакивая сухую левую ногу, вышла во двор. Кудричка уже давно перестала ведьмачить и только любила иногда вспоминать, как прежде, когда была молодой, в ночь на Ивана Купалу уходила в поле, раздевалась донага и каталась по пшенице, собирая на теле спир – животворящую силу хлеба, и хлеб в этом месте не родился. На Юрия и в Русальный тыждень она отбирала от коров молоко, и коровы после этого доились кровью или приносили молоко без сливок, и в церкви на службе Божьей старалась встать поближе к священнику, чтобы дотронуться до его одежды, но сколько она ни забирала соков от людей, их худобы и хлеба, все это пожирал маленький черт – выхованок, которого она выносила и вынянчила, как носят другие бабы детей.

Было тогда Кудричке двадцать девять лет, она схоронила мать, жила бедно, и никакой надежды на обычную женскую судьбу у нее не было – никому не нужна была злая, вечно хмурая хромоножка, обделенная Богом и людьми, точно изначально обреченная на одиночество. И от этой великой обиды за девять дней до Пасхи она взяла неразвившееся куриное яйцо – зносок – и носила его под левой мышкой, не мылась, не молилась, а когда на светлой заутрене народ вышел из церкви и запел «Христос воскрес», дрожащая, замирая от страха, чувствуя неясное шевеление под мышкой, пошла людям навстречу и пропела, как учила ее старая чаровница Андросиха: «И мой воскрес». И заторопилась домой, ушла, унесла с собой зносок в хату, почувствовала, как треснуло яйцо и невидимый выхованок скользнул из ее рукава и запрыгал по дому, всю ночь грохотал посудой, возился то под печью, то на чердаке, завывал и смеялся. С тех пор он сам носил ей молоко, яйца, деньги, и одинокая Кудричка стала жить не хуже других, обновила хату, перестелила крышу, покрыла ее железом и выстроила новый сарай. Только так вышло, что всю жизнь отобрал маленький зносок и не дал обещанного Андросихой легкого счастья.

«Умирать скоро, – вдруг ясно почувствовала Кудричка, – еще несколько лет, и все». И ей вдруг сделалось страшно, как никогда раньше, точно увидела она свой последний такой же стылый ноябрьский день и одновременно с этим вспомнила, как мучилась перед смертью прежняя лесковецкая басурканя, передавшая Кудричке свою силу. Старуха уронила голову на руки и стала, не стесняясь, в голос рыдать, и ей почудилось, что где-то за печью отзывается на ее плач злобным смехом хозяин дома, и болит, мучается от этого смеха живая еще ее душа.

Наконец Кудричка подняла голову и вспомнила о пришедшей девочке. Девочка лежала на печи и слабо дышала – она умирала, хозяйке стало это ясно, когда она раздела ее и взглянула на исхудавшее, покрытое чирьями тело, на восковое лицо с запекшимися губами, и старуха неожиданно почувствовала в душе нечто вроде сострадания к этому несчастному существу и с этим состраданием зависть. Лечить людей Кудричка не умела, она была не ворожкой, но басурканей и могла сделать так, чтобы кто-нибудь заболел или умер, чтобы ребенок стал заикой или не спал по ночам, чтобы у женщины не было детей, и теперь она не знала, как помочь маленькой нищенке.

Старуха затопила печь. Стала греть воду, укутала девочку в козий полушубок и села рядом с ней. Скоро наступила ночь, но Кудричка не ложилась спать и не задувала керосиновую лампу, она сидела на печи, и ей казалось, что она держит в ладонях крохотное, еле теплящееся пламя чужой жизни, а девочка то металась в жару, сбрасывая с себя полушубок, то замирала и переставала дышать, и так прошла вся ночь – выхованок затих под печью и с любопытством наблюдал за старухой, но та сидела не шевелясь, пока к утру в болезни

ребенка не случился перелом. Девочка проснулась вся в поту, приоткрыла глаза, что-то пробормотала, а потом уснула до вечера.

На следующий день Кудричка ошипала курицу и сварила бульон. Она кормила девочку бульоном несколько дней, ухаживала за ней и, когда та пришла в себя, спросила:

– Тебя как звать?

– Стефа, – ответила девочка, еле разжав губы.

– Будешь у меня жить, – произнесла Кудричка полуутвердительно, но Стефа не слышала ее слов, она снова впала в беспамятство, и еще несколько дней старухе казалось, что она может умереть. Стефа поправлялась медленно и верно, точно оглядываясь назад и не осознавая себя живой.

В конце марта поднялась наконец из долины весна, и холодными ветренными вечерами Стефа выходила во двор и смотрела на звезды, на Чумацкий Шлях, по которому ехали чумаки и рассыпали по небу соль с запада на восток с тысячью блестящих песчанок. И на душе у нее делалось ненадолго покойно и тихо, как в далеком, точно не с ней бывшем детстве, и ей чудилось, что откуда-то свыше смотрит на нее нежными глазами мать, качает на руках, тоскует и расчесывает ее темные мягкие волосы.

Так прошло несколько лет ее жизни. Стефа повзрослела, ей исполнилось шестнадцать лет. Она напоминала пересаженное, искривленное, под каким-то спудом выращенное дерево, пробившееся через расщелину, цепляющееся корнями за камни и тянущее ветви к небу. Она была очень набожная, пела в церковном хоре, и вскоре в селе к ней привыкли, полюбили ее, у нее появились подружки, и высокий смуглый хлопец Михайло Лозань заглядывался на нее, когда, раскрасневшаяся, взволнованная, она пела на клиросе и молилась. И Стефа, поначалу стеснявшаяся его взглядов, стала несмело на них отвечать, и иногда они гуляли вечерами по селу, и девушка вполголоса напевала родные свои песни и смеялась, слушая говорливого парня.

А старая Кудричка, казалось, была довольна, что Стефа ходила в церковь, она не сопротивлялась даже тому, что в доме появилось на стене Распятие и изображение Девы Марии с младенцем, и взъерошенный выхованок не смел тревожить Стефиных снов.

Между тем кончилась война в огромном мире, она кончилась в Германии и в России, но на Западной Украине война все еще шла, люди по-прежнему жались в своих домах, уезжали к родственникам в города, а в маленькой горной деревне не было никакой защиты от вооруженных людей, за которыми охотились армейские спецчасти. По ночам в Лесковце было тихо, но это была не сонная, благодушная и безмятежная тишина покоя – это была настороженная тишина бессонницы и ожидания своих братьев, мужей и сыновей, знакомых и незнакомых людей, тех, что по своей или чужой воле скрывались в лесу и нападали на хутора и обозы, отбирали у крестьян худобу, уже сами не понимая, за что и с кем они воюют. И снова было голодно в селах, и поля зарастали бурьяном. Точно сама история, так долго оберегавшая Лесковец от потрясений, вымещала на нем в эти годы всю свою горечь и зло, и из села увозили в Сибирь правых и виноватых, тех, кто укрывал или просто давал напиток одичавшим лесным братьям.

В эти послевоенные годы перестали приходить на Воздвижение паломники из дальних сел и городов – в середине апреля за два дня до Пасхи сгорела кем-то подожженная Крестовоздвиженская церковь, а тем же летом трактора сломали все двенадцать часовенок, что стояли по обе стороны крестного пути. В селе организовали колгосп, раскулачивали крепкие хозяйства, и крестьяне не знали, где они встретят завтрашний день и что станет с их детьми, домами и худобой. Казалось, от людей отвернулся Господь и наказывал их за грехи, и в ряду этих печальных событий как-то странно отозвалась смерть старой Кудрички.

Она умерла в конце осени, и соседи рассказывали, как несколько ночей ветер доносил из освещенного красным светом дома стоны, смех, раскаты свиста, будто бы видели

огромный огненный шар над трубой и громадных людей в черных капелюшах, уведших за собой несчастную Кудричкину душу. И после того как Кудричку схоронили, люди облегченно вздохнули, многим стало казаться, что именно старая басурканя накликала на горное село разорение и страх и с ее смертью все беды пройдут и жизнь будет течь так, как текла вечно. В самом деле, в ту зиму первый раз за долгие годы в Лесковце не было голода, перестали увозить людей и в горах стихли выстрелы. На святки парни и девки ходили с колядками и щедривками, гадали, их угощали пряниками и наливками, и только не было с ними Стефании.

С девушкой что-то произошло, она стала замкнутой и нелюдимой, не пела больше в церковном хоре, ни с кем не заговаривала и никому не улыбалась, и напрасно ходил около ее хаты погрустневший Михайло Лозань и кликал девушку – она не выходила из дому. Единственным человеком, кто знал истинную причину происшедших со Стефой перемен, был сельский священник отец Василий, которому она исповедовалась на крестопоклонной сидице Великого поста.

– Грех, грех-то какой, Стефа, – проговорил он, тревожно расхаживая по опустевшему храму, – что ж ты наделала?

– Она мучилась очень, батюшка, – отвечала Стефа, не поднимая головы, – умереть не могла и все звала меня, просила ей помочь, освободить ее. Глаза безумные, сама стонет, кричит, я тогда и не выдержала. А она велела, чтоб я разделась, встала в таз с водой, сняла с себя крест и бросила его на пол. А потом долго что-то говорила, я не помню что. Только худо мне теперь очень, батюшка, и сказать страшно, что вижу и что меня мучает.

– Как же ты с этим жить будешь, Стефа? – прошептал священник. – Ах, лукавый, как он изворотлив, враг человеческий, через милосердие в душу лезет. Добротой они твоей попользовались, а ты и прельстилась.

Девушку вдруг стала бить судорога, глаза ее, смотревшие неотступно в одну точку, исказились ужасом, и она упала на пол, задев рукой лампадку. Священник бросился к ней и, сжимая в руках ее голову, стал торопливо шептать очистительную молитву, потом отвел Стефу домой, уложил ее спать, как малое дитя, и, когда она заснула, долго ходил по дому, размахивая кадилом, и рука его чувствовала тяжесть, точно он держал топор, и на каждый его взмах дом отзывался скрежетом, а на лице Стефы застыл оскал. И отец Василий понял, что лукавый восторжествовал – Стефания против своей воли сделалась басурканей, унаследовав страшную Кудричкину силу.

Накануне Иванова дня из церкви пропала причастная чаша. Перед проскомидией отец Василий осмотрел все в алтаре, но чаши нигде не было. Кроме него и церковного старосты, ключи от церкви были только у Стефы, и в жаркий день отца Василия прошибло холодным потом от страшной догадки, что произошло. Он быстро пошел, не успев переодеться и снять рясу, на окраину села, но хата была пустой, и когда священник переступил через порог, он ощутил внезапную слабость, закачался, и у него едва хватило сил, чтобы выйти и сесть на то самое крыльцо, где несколько лет назад сидела у чужого дома голодная сирота. Он сидел на крыльце, и одна мысль мучила его сильнее всего: почему она пришла именно сюда? И ему чудилось, будто бы он слышит слабый стук в окно своего дома, на который когда-то не вышел.

А Стефу нашли на следующий день недалеко от подножия Кальварии – ее тело висело на дикой груше в саду. Потом уже люди рассказывали, как в последний раз видели ее в церкви вечером перед Купалой: она молилась у двери и не решалась войти в храм.

В ту же ночь она явилась Михайло Лозаню, он видел ее окровавленной, с распущенными волосами и темными пятнами на лице. Явилась она и отцу Василию и долго стояла, опершись о косяк, и священник не решался осенить себя крестным знамением, чтобы прогнать несчастное видение. Наутро в церкви после службы он обратился к прихожанам и

напомнил им о давнем обычае отмаливать всем селом ведьму. Ее отмаливали весь июль, август и сентябрь, в Лесковце постились, совершали каждый день службы, и все меньше и меньше оставалось крови на одежде и руках Стефании, когда она являлась юноше и иерею по ночам. В середине сентября в селе собрали деньги, отрядили плотников, и те построили на месте разрушенной церкви часовню, и в день Воздвиженья люди, как прежде, пошли на безлесую гору с хоругвями, иконами и крестом и поставили крест в часовне. Той же ночью Стефания явилась ко всем последний раз в белой одежде с просветленным лицом, и на колокольне тихо зазвучал большой колокол.

О чуде, случившемся в Лесковце, заговорили в долинных селах, народ стал волноваться, и местные власти направили в горы комиссию, которая опечатала часовню, закрыла церковь Архимандрита Михаила и увезла священника. В Лесковец прислали молоденькую учительницу и поручили ей вести среди крестьян разъяснительную работу. Учительницу поселили в опустевшей Кудричкиной хате, но прожила она там ровно неделю, после чего, насмерть перепуганная, съехала и стала снимать комнату на противоположном краю села. В селе заговорили нехорошее и стали требовать от сельской рады, чтобы открыли церковь и вернули священника. В Лесковец снова приехала комиссия из района, учительнице велели вернуться в Кудричкий дом и угрожали лишить ее партбилета, но молодая женщина отказалась и никак не объяснила причины. И только пожилой методистке из отдела народного образования она призналась, что ночью ее груди касались чьи-то холодные ладони. «Замуж тебе пора», – проворчала методистка, но настаивать на том, чтобы учительница вернулась в нечистый дом, не стала.

Добротный Кудричкий дом стоял несколько лет пустой, никто его не покупал, и сколько ни пытались там открыть библиотеку или клуб, народ туда не шел. В конце концов хату разобрали на бревна, и когда плотники снимали крышу, то обнаружили под ней телячью шкуру с крестом и четное число стропил – верный признак того, что в доме действительно жила нечистая сила. Место заросло бурьяном и бузиной, а на фундаменте жаркими летними днями грелась змея.

Ангел

Ее уже давно нет в их маленьком северном городке, и никто больше не живет в доме цвета охры за речкой Корогой, но когда к Анисиму Ивановичу подбирается полуденная дремота и теряют резкость тени и очертания башен и стен за окном, то видится ему невысокая женская фигура на расчищенной от снега аллее, видятся блестящие веселые глаза, слышится ее голос, негромкий, но очень отчетливый, и стучат на крыльце сапожки, шуршит веник, сметающий снег, она входит в жарко натопленную комнатку, раздевается, смеясь и не умолкая ни на минуту, пьет чай, по-женски низко наклоняясь к чашке, разгрызает свои любимые соленые сушки, а потом снова приходит автобус, из него вылезают зевающие, разомлевшие с дороги экскурсанты, и она поднимается с улыбкой сожаления, уводя их по аллее сквозь высокую надвратную башню с флюгером в виде трубящего ангела. Она что-то говорит, показывая рукою на этого ангела, и даже издалека видит Анисим Иванович клубы пара, вылетающие изо рта и изморозью лежащие на пряди русых волос, но сонным мужчинам и женщинам нет никакого дела ни до нее, ни до ангела, они говорят между собою, брезгливо морщатся, и Анисиму Ивановичу становится нестерпимо за нее обидно, ему хочется выскочить из дому и хорошенько их встряхнуть, как дурно воспитанных детей, но маленькая женщина и окружающие ее люди исчезают в снежной дымке, и сколько еще пройдет времени, пока она снова вернется, станет греть руки у открытой заслонки и в скорых сумерках заблестят глаза, глядя на пламя, как умеют глядеть на него только женщины.

– Анисим Иванович, – говорила она нараспев, – какое же у вас, голубчик, чудное имя. И сами вы такой чудный.

Он краснел, закашливался, а она заглядывала в его смущенные, довольные глаза с таким простодушием, что даже если и возникала у него мысль, что шалунья над ним потешается, то все равно обидно не делалось, и он слушал, как она восхищается куполами церквей, зелеными закатами, строгими башнями, толстыми стенами с узкими окошками-бойницами и выплескивает все на него, будто ребенок. Но скоро, очень скоро наступали сумерки, и она уходила по темной пустынной улице к служебному домику за рекой и, глядя ей вслед, он представлял, как эта молодая красивая женщина, окончившая университет, будет таскать воду, колоть дрова, топить печь, готовить ужин, а потом целый вечер сидеть одна, прислушиваясь к каждому шороху и вою ветра в трубе. Она уедет, она непременно уедет, твердил он, уедет, как уезжали все, кто жил здесь до нее, но прошел месяц-другой, прошла зима, а она никуда не уезжала, еще веселее блестели ее глаза, звонче становился голос под стать весенней капли под церковными кровлями. Часами она лазила по запасникам, разглядывала иконы и древние книги, утварь, звала его, что-то спрашивала, объясняла сама, записывала, фотографировала, и в глазах ее было такое счастье, что хмурый и нелюдимый сторож, которому прежде было все равно, что он охраняет, вдруг сам начал интересоваться, сперва стесняясь этого любопытства, а потом, поощряемый ею, принялся рассуждать.

– Вот говоришь ты, Любовь Федоровна, что был святой Игнатий угодник Божий и было ему видение: пойди-де на Корозеро и построй там обитель. А я так думаю, что Игнатий тот был попросту себе на уме мужик. Надоели ему тамошние дразги московские, вот и ушел он в леса. А как дошел до озера нашего, поймал первую семужку, попробовал ее, так и остался тут жить. Ну а насчет всяких там видений или знамений это либо люди потом сочинили, либо сам он придумал, чтоб никто его отсюда не погнал.

Она захохотала, встряхнув рассыпанными по плечам волосами, звонко, по-девичьи:

– Ой, Анисим Иванович, вам бы не музей сторожить, а лекции по атеизму читать. Всех бы профессоров за пояс заткнули.

– Ты меня, девка, атеистом не брани, – рассердился он, – что я те, пес какой? – Замолчал, но долго молчать терпения не доставало, и глаза ее так ласково смотрели, что опять загорячился: – А что ты думаешь? Монахи дак те же мужики были. Я тебе так скажу: бабы им опостытели, вот и зажили они отдельно. Хозяйство свое завели, рыбу ловили, сады у них были, это в наших-то местах. А счас? – Он махнул рукой, нахмурился, и она тоже загрустила и стала жаловаться на директора, которому ни до чего нет дела, фонды разбазарены, самое ценное вывезено в Москву и Ленинград.

Анисим Иванович сочувственно слушал и в утешение сказал:

– Прежний начальник еще поганьше был. При ем дак до самой до войны иконы на полу вверх ликами лежали, а людей по им ходить заставляли. Счас такого хоть нет безобразия.

Городок стоял на отшибе, экскурсии приезжали нечасто, и хотя давно пора было делать ремонт, с ремонтом откладывали, закрывая одну за другой обветшавшие церкви, и все к этому привыкли: меньше экспозиций – меньше работы, только Любовь Федоровна стала возмущаться:

– Ну объясните вы мне, почему мы, богатейшая страна, запускаем в космос тысячи спутников, строим заводы, станции и не можем найти нескольких десятков тысяч на ремонт музея, которому нет цены и который, исчезни он, ничем уже не заменишь. Понимаете, ничем!

– Брось, Любовь Федоровна, – возразил он твердо, – какой уж там космос? В шестьдесят первом как раз Гагарина запустили – начальство сюда приехало, дак хотели собор центральный порушить. Говорят, Бога нет, теперь наукой доказано, а церква ваша больно высока, выше всех в городе и людей смущает. Так что трудящиеся требуют, подписи собрали, ироды, – он злобно сплюнул, – одно спасло тогда: зрывчатки им не хватило. Никто нас не трогает, и слава Богу.

– Да что вы глупости какие-то говорите? – вспыхнула она. – Это кто ж сейчас позволит памятник взрывать?

– Ну не взрывать, так другую пакость учудят.

– Ну уж нет, – сказала она решительно, – я поеду в область и буду добиваться своего.

И в самом деле поехала, а когда вернулась, то по разгоряченному, сердитому лицу ее было видно, что поездка кончилась, как и ожидал сторож, ничем. Он не стал спрашивать, однако назавтра она сама в сердцах проговорила:

– Меня не удивляет хамство этой мрази. – И он вздрогнул – так не шли к ее голосу эти грубые слова. – Вы правы, от них помощи не будет. Но люди-то, обычные люди, почему они на все так спокойно смотрят? К кому я ни обращалась, просила прийти помочь ну хоть мусор убрать – молчат или смеются. А ведь город возник благодаря монастырю – но спроси, кто из местных жителей был в музее хоть раз – я лично за все это время не видела никого. Сюда приезжают за тысячу километров, а те, кто живет под самыми стенами, знать не хотят, что через десять лет эти стены, может быть, рухнут.

Анисим Иванович промолчал, но про себя подумал, что ничего страшного в этом нет. Люди они и есть люди, их волнует то, с чем они каждый день сталкиваются, с тем, что пусты магазины, разбиты дороги, валится больница, а монастырь – чужак, он существует для тех, кто на красном автобусе приедет и уедет, а из магазинов заглядывает лишь в книжный. И если бы завтра монастыря не стало, то никто бы, верно, и не переживал, да и ему самому какая от этого музея радость? Но маленькая страстная женщина волновала его, заставляла глядеть на все своими глазами и будила в стороже глухую тоску. Не обременявший себя никогда лишними переживаниями, всему покорный, а в последние годы и равнодушный, Анисим Иванович вдруг стал думать о том, что жизнь его почти что прожита, а прожита нелепо: здоровье погубил он еще в молодости на лесозаготовках, куда бежал, спасаясь от

колхоза; жена, всю жизнь тяжело болевшая, несколько лет назад наконец отмучилась, детей им Бог не дал, и ничего, кроме этой сторожки, у него не осталось и после него не останется.

Эти мысли приходили сторожу и раньше, он всегда их боялся, но умел избежать, запивал вином, но теперь мучил его вопрос – как так вышло и кому это было нужно, если столько потрачено сил, столько наломались они, если выиграли войну, а жизнь сделалась еще хуже и безобразнее, и самое страшное – люди перестали быть людьми, одичали, обессовестились. И от этого самому муторно делалось, злоба к горлу комом подступала, но чужая, неизвестно из какого далека приехавшая женщина, будившая в нем нечаянно эти мысли, странным образом приносила и облегчение, и если бы она сейчас уехала, он переживал бы эту потерю много тяжелее, чем тогдашнее бегство из просторного отцовского дома в болотистый лес.

Он мало ей о себе рассказывал, думая, что интересного в его жизни быть для нее ничего не может, но даже когда, сорвав на ветру голос, она целый вечер молчала и пила небольшими глотками чай с травами, ему чудилось, что одно ее присутствие в этой комнате утешает его и смягчает многолетнюю боль, и одновременно с этим приходили тревога и забота о ней, как если бы она была его дочерью с несложившейся женской судьбой. Но как мало рассказывал он ей о себе, так помалкивала и она, и ничего Анисим Иванович о ней не знал и не мог взять в толк, зачем умная, интересная женщина в лучшие свои годы уезжает одна так далеко от дома. Ни с кем из местных жителей она не сходилась, не бывала ни на танцах, ни в кино, и Анисим Иванович, сам не отличавшийся смелостью в делах сердечных, положил, что дело в одной лишь нерешительности. А внимание она к себе привлекала, и раз заговорил с ним о приезжей женщине его приятель по рыбалке, у которого вернулся из армии сын.

– Не пара она твоему архаровцу, – сухо сказал Анисим Иванович, и разговор на том и закончился, но на завтра, угощая ее ухой, он как бы невзначай, запинаясь и путаясь в словах, заговорил о том парне. Она слушала молча, ела уху, и воодушевленный ее покорностью сторож заговорил бойчее в том смысле, что парень, конечно, университетов не кончал, но не хулиганистый, да и зарабатывает неплохо. Она подняла голову и тихо сказала:

– Не говорите со мной больше на эту тему, прошу вас.

Встала и пошла к двери, и все заныло в груди у окаменевшего старика, показалось, что больше не придет она к нему пить чай, а будет лишь холодно здороваться, проходя мимо, смотря чужими глазами и говоря чужим голосом, и он не знал, что сделать, как исправить свою оплошность, но она точно смиловалась над ним и обернулась:

– Вы думаете, я несчастлива, да? Я здесь свободна, понимаете? Я живу так, как хочу, делаю то, что мне нравится, ни от кого не завишу. Я, как Игнатий, сбежала сюда от московских дрязг, и мне дорог этот монастырь, озеро, вы, мой маленький домик за рекой, эти старые книги, архивы; даже тупые экскурсанты, которым иногда удается втолковать хоть кроху, и те мне ничего. А когда становится тоскливо, помните ангела над воротами? Я тогда гляжу на него и думаю: вот поставили его туда сотни лет назад, и глядит он с трубой своей на нашу беспутную дурную жизнь, продувают его ветра, дождь хлещет, снег, ветер, солнце, а он все равно, пока не настал ему час громогласно протрубить свою последнюю страшную песнь, тихо играет. Ну что вы на меня так жалостливо смотрите? Лучше-ка возьмите меня на рыбалку, я вам, ей-богу, мешать не буду.

Он думал, что про рыбалку она сказала так просто, но через неделю они поехали. Поначалу она вела себя сдержанно, помалкивала и смотрела, как он управляется со снастями, а потом развеселилась, смеялась, вытаскивая сторожек и окуней, и столько в ней было гибкости и изящества, что почудилось ему, будто бы она похожа на чудом уцелевшую с незапамятных времен красивую и сильную семужку, одиноко догуливающую свой век, и что ей делать, этой драгоценной рыбе, в опустевшем озере? И когда лежала она белой ночью у костра на лапнике, легко укрытая, душа его томилась сладкой мукой, и снова чувствовал себя сторож ребенком перед таинством будущей жизни, еще неясно звавшей и обещавшей счастье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.